

андрей тавров

**И ПОДНЯЛ ЕГО
ЗА ВОЛОСЫ АНГЕЛ**



Андрей Тавров

И поднял его за волосы ангел

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54968769

И поднял его за волосы ангел. Повесть, рассказы и 7 стихотворений в прозе: Центр современной литературы; Квилл Пресс; Москва; 2019

ISBN 978-5-91627-222-2

Аннотация

В книге современного поэта и прозаика Андрея Таврова собрана его «короткая проза». Рассказы и повести объединены стремлением героев увидеть за гипнотической и однозначной наличностью мира его скрытый внутренний смысл, его таинственную составляющую, обретаемую каждый раз заново на свой страх и риск. Эта подчас мучительно дающаяся «драгоценность» заставляет преобразиться внешний мир, открывая в нем новую, нелинейную перспективу.

Содержание

Паче шума вод многих	6
1	6
2	10
3	13
4	18
5	23
6	27
7	31
8	38
9	42
10	48
11	54
12	60
13	65
14	69
Летчик	75
1	75
2	78
3	81
4	85
5	87
6	92
7	96

8	98
9	100
10	102
11	104
12	109
13	113
14	115
15	118
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Андрей Тавров

И поднял его за волосы ангел. Повесть, рассказы и 7 стихотворений в прозе

*Аввакум сказал: господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда Ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего.
Даниил, 14, 35–36*

В оформлении обложки использована фотография автора

© А. М. Тавров, 2019

© Центр современной литературы, 2019

© Квилл Пресс, 2019

Паче шума вод многих

1

В тот вечер мы с Филиппом заговорили о мореплавателях. Мы сидели в его комнате, которую он снял здесь на месяц – жарко, окна открыты настежь, и в одном из них движется вереница автомобилей, мерцая сквозь веер пальмы, ходящий туда-сюда в ленивом ветерке. Из того же окна видно белое крыло главпочтамта с блестящими стеклами, а за парком – зажженный низким солнцем шпиль порта.

Филипп загорел за неделю, он сидит напротив меня в раскладном кресле, это такая деревянная рама с натянутым на сиденье и спинку полосатым холстом, и курит. На полу лежит солнечный квадрат с тенью движущихся листьев.

– В устах истинного человека, – говорит Филипп, глядя в окно и морщась после затяжки, – даже вещи неистинные превращаются в истину. А в устах болтуна даже глубокие слова окажутся фальшью. – Он раздавил окурочек в пепельнице и полез в карман шортов. Оттуда он вытянул истрепанную книжицу в бумажном переплете, покрутил в руках и бросил на кровать. – Неважно, – сказал он, что написано в этих книжках, важно, кто именно все это читает. Если нетрудно, включи вентилятор.

Я включил вентилятор с облезшей красной краской, резиновые лопасти завертелись и слились в круг. Я направил вентилятор на Филиппа.

– Ты где остановился?

– В гостинице – отсюда два шага.

Он встал с кресла – большой, загорелый – и стал сдирать футболку через голову. – Вот же, – сказал он, – пропотела. Как тебе эта жара?

У брата была редкая черта – он всегда интересовался, как себя чувствует его собеседник, даже если это была продавщица в супермаркете.

– Камоэнс был одноглазым чудовищем, – сказал Филипп. – Циклопом. Циклопы всегда тоскуют по утерянному глазу. В пустой глазнице свистит ветер, и осколки стекла похрустывают под ногами, как в покинутом доме.

Он улыбнулся.

– И что? – я делал вид, что мне не особенно интересно. Поддержал, так сказать, светскую беседу.

– В комнату, из которой ушел глаз, залетают летучие мыши и ночные бабочки. Там вообще творится черт-те что.

– И что там такое творится? – поинтересовался я. На самом деле, мне всегда было жутко интересно, когда Филипп начинал «вещать эту свою чепуху», по выражению нашей матери. Это, наверное, потому, что со временем чепуха оказывалась вовсе не чепухой, а некоторые из его слов и идей подтверждались, неожиданно вынырнув со страниц самых авто-

ритетных источников, но сразу этого можно было не понять. Ну, в том смысле, шутит он или говорит серьезно. Особенно мне, я ведь только недавно начал всерьез относиться к своему образованию.

– Так что там творится? В комнате, откуда ушел глаз? – повторил я.

– В двух словах не скажешь, – усмехнулся Филипп. – Деньги-то у тебя есть, братец?

– Есть.

– Прекрасно! Не видел мою сумку?

– Расскажи про комнату.

– Вот она! На самом виду была. Представь: у тебя есть две картины мира – одна в выпуклом зеркале, а вторая в вогнутом и опустевшем. В выпуклом все увеличивается. В вогнутом и опустевшем зрение движется в противоположном направлении. Вот черт! Телефон совсем разрядился.

– И что?

– Опустевшему зеркалу нужна компенсация своей пустоты. И она приходит в виде глаза циклона. Вокруг гуляют вихри, сносит железо с крыш, барышни бегут и визжат, собаки залезают под крыльцо, рамы бьются и дребезжат стеклами, автомобили поднимаются в воздух и там порхают, как ласточки, но внутри – покой, безмолвие и тишина. В этой дыре, в этой пустой глазнице. Черная дыра – вот там-то все и происходит.

– Что происходит?

– Ужас что! Потом, малыш, опаздываю на встречу. Бриться уже некогда. Если хочешь, оставайся, в холодильнике есть морс.

– А ты куда?

– У меня свидание.

– Опять какая-нибудь сумасшедшая? Ну, как та, помнишь, ну та, что боялась слов на букву «а»...

Но Филиппа уже не было в комнате. Я завалился на постель прямо в сандалиях, вытащил из-под себя книжку в мягком переплете, которую кинул сюда Филипп, и стал читать. Это был Камознс.

2

Вернее Луиш Важ Камойнш. Но не в этом дело, а в том, что он видит монстра. Он стоит на корме и смотрит, какого цвета море и какие летают чайки, и прикидывает, сколько осталось до берега. Потом он понимает, что видит монстра – но не понимает, как он его видит. Потому что, чтобы что-то видеть, а особенно монстра, надо, чтобы он понимал, что ты его видишь, и дал тебе небольшой сигнал, вроде паровозного, чтоб ты был в курсе, и тогда этот сигнал в тебе отзывается, ну, вроде, как ты вошел в комнату, где музыка и девчонки танцуют, и все тебе рады, хотя ты еще не успел разглядеть, есть ли среди них та, ради которой ты сюда притащился, но уже знаешь, что есть, да, она здесь, и в тот же миг это делается словно бы и неважно.

Монстр такой, как его рисуют на старинных картах, когда они еще не стали старинными, а просто лежат в каюте капитана – вполне для него современная карта, еще пахнет краской. А сбоку, в углу карты, по океану плывет морское чудовище с разинутой пастью, похожее на морского ерша величиной с десятиэтажный дом, а с бровей свисают водоросли и из ноздрей валит дым, который на самом деле водяная пыль.

Вот Камознс его прямо сейчас и видит, еще не подобрав к нему слова, ни португальского, ни французского, хотя, конечно, слово уже возникает, как этот самый туман из нозд-

рей, и можно даже сказать, что если бы оно не возникло прежде монстра, то и монстра никакого бы не было, а, значит, и Луиша Важа тоже не было бы на корме. Можно даже сказать, что такое слово с Камоэнсом и монстром – одно на двоих – уже есть, и в нем куда больше смысла, чем принято думать, ибо если мы чего и видим стоящего, так это оказавшись именно в таком слове, как летчик, скажем, в аэроплане, летящем ночью над окопами, и никто его сбить не может, потому что он теперь летит в слове ночь, а он сквозь это слово видит внизу редкие огоньки и лицо Греты, и он неуязвим, и знает это настолько отчетливо, что крылья теперь торчат не из фюзеляжа его допотопного самолета, а прямо у него из спины, и он чувствует запах духов от Греты.

Вопрос – движется такое слово вместе с летчиком или нет?

Ответ – на такой дурацкий вопрос ответа не может быть.

И не потому, что вопрос дурацкий, а потому что вы ответ знаете. Вы всегда знаете, хочет девушка, чтобы вы ее обняли или нет. Или, например, если стреляете в тире на спор из пневматической винтовки, то тоже знаете, попадете или нет, хотя вам никто гарантий не давал.

Луис стоит и смотрит на море, а видит чудовище. Луис также видит то, что знал давно, что все эти влажные волны с их огоньками ночью и блеском зайчиков днем, с валами, на которых парусник приподнимается и снова уходит вниз, как будто он воздушный корабль в мягком турбулентном пото-

ке, – состоят из сухих шаров. Шары прозрачны, и среди них есть огромные, а есть величиной с его утраченный глаз. Но, в отличие от глаза, каждый такой прозрачный и позванивающий в бесконечном пространстве вселенной, из которой состоит океан, каждый такой шар находится на своем месте и никогда не сможет потеряться. Камоэнс догадывается, что и глаз его потеряться тоже не может, и, возможно, он также создает океан или дерево, как эти разнокалиберные прозрачные шары, идущие с тихой музыкой по своим орбитам, и, может быть, он даже сейчас находится в самом Камоэнсе, но не как глаз, а в виде будущей звезды или улитки. А как выглядит будущий предмет, мало кто знает, но он, если и не знал, то несколько раз это видел.

Трудно объяснить про предмет, который станет предметом только в будущем, но можно сказать, что от него идет свет. И Камоэнс видел такой свет, и сейчас стоит на палубе и смотрит на чудовище. Так они и плывут в ночи под звездами, почти в тишине, не считая легких всплесков, – монстр и Каэмоэнс. Смотрят друг на друга и плывут в неназванном еще слове.

3

Это я пробую вещать свою собственную чепуху по примеру Филиппа, но мне, конечно, не хватает образования. И все же забавно придумывать те вещи, которые уже есть на самом деле, только их никто, кроме тебя, не видит. Как, например, никто не видит монстров, а все видят красивых. Или никто не видит лица у девчонки, если у нее задралась юбка, а все обязательно уставятся на ее ноги. А среди монстров самые невероятные – быки и еще когда женщина дерется.

Я прочитал пару сонетов, а потом решил пройтись по набережной от нечего делать. Хотел посмотреть, как пришвартовывается прогулочный катер с музыкой и курортниками.

Катера долго не было, и я стоял на причале и смотрел в море. Стало прохладнее. Было приятно чувствовать, как ветер забирается под рубашку и холодит тело. Я смотрел в море и думал, сохранились в парке у Летнего театра статуи музыкантов или нет. Раньше там стояли бюсты Мусоргского, Бетховена и всех остальных великих композиторов, и осенью на них падали листья магнолии – пожелтевшие и тяжелые. Когда такой лист стучался о каменный бюст, то можно было даже слышать звук удара. Если, конечно, вокруг тихо.

Они стоят на постаментах, белые и никому не нужные, и каждую осень на них сыплются листья, их мочит дождь, но, вообще-то, от солнца им достается больше. Надо бы сходить

посмотреть, стоят они все еще там или нет. Каждый раз, когда приезжаю сюда, хожу, проверяю. Иногда ведь в городах целые дома исчезают, а то и кварталы, не то что статуи. И всегда думаешь, а где те люди, которые жили в таком исчезнувшем доме. Ну, люди, конечно, найдут, где жить, а вот статуя, если исчезнет, скорее всего, жилья не найдет.

Море темнело на глазах. Пару раз мне казалось, что вижу катер, идущий к причалу, но каждый раз я ошибался.

Быки и женщины. Я понял, что забыл отдать Филиппу тетрадку с его записями, которую он просил меня привезти, и теперь таскаюсь с ней, как дурак. Она лежала у меня в кармане, и от этого мои белые брюки казались какими-то перекошенными, как у подростка, который набил карман всякой дрянью и теперь счастлив.

Я достал тетрадку из кармана и сел на скамейку возле билетной кассы. Я не хотел ее читать, да и что там читать, я уже выучил наизусть все, что там было написано, но делать-то все равно было нечего, и я просто крутил ее в руках, потому что она была будто живая и теплая от тех слов, что в ней были.

Над павильоном с окошечком, через которое выдавали билеты на прогулочные рейсы, светил фонарь. Филипп писал зеленой ручкой, но буквы в холодном искусственном свете казались черными. Я не очень понимал, отчего это он быков и женщин объединил в одном абзаце. Я несколько раз пытался понять, и мне иногда казалось, что я ловлю смысл, но

как только начинал его ухватывать, он сразу куда-то исчезал.

Прилетела чайка и уселась на ограждение. Меня она совсем не боялась. Сидела и смотрела на меня. В детстве я мечтал, чтобы у меня была своя птица, но потом понял, что птицы должны жить на воле. А тогда мне очень хотелось поймать птичку и подержать в руках. Сидела и слегка балансировала в ветерке. А потом снялась и полетела в сторону порта.

Я часто забываю про детство, а иногда живу в нем, как будто никуда оттуда не уходил. А иногда даже не могу вспомнить, кто же я такой теперь. Серьезно. Смешно, конечно, но это так. Наверное, это ощущение хорошо бы пояснить. Таким, что ли, примером:

Как-то меня угостили травкой в одной компании. Ну, не то, чтоб я ее попробовал в первый раз – я уже один раз курил, и мне даже немного понравилось, что все, кто покурил, смеются, и что мне самому было все время смешно. Но в этот раз я ехал в трамвае домой и все время забывал, куда еду. И поэтому было неудобно и тревожно, хотя мне нравилось в трамвае – я был там один, и сиденье было теплое. Но я ехал, смотрел на снег за окном, витрины магазинов и все пытался вспомнить, куда я еду. И как только вспоминал, что домой, и расслаблялся, так тут же забывал снова. И опять начинал гадать, куда же я еду. В общем, бестолковая была поездка, нервная какая-то – все знаешь, а что именно, не можешь вспомнить...

Думаю, что мы и в жизни ощущаем себя так же, как я в том трамвае – вроде бы мы должны все знать и даже чувствовать, что все про себя знаем, но только никак не можем вспомнить, что именно. А когда вспоминаем, то тут же забываем. Удивительно, что когда я домой доехал, мать ничего не заподозрила. То есть снаружи все было как обычно, и хоть я и был не в себе, но этого никто не заметил.

В том-то и дело, что ты можешь сходить с ума по полной, а этого никто и не увидит, даже мать, которую ты любишь и которая любит тебя.

Я думаю, это потому, что если не в себе не ты один, а все сразу, то тогда ты среди них вроде бы как нормальный, такой же, как и остальные, что ли. Но, наверное, иногда каждый из нас догадывается, хотя бы ненадолго, что мы все сумасшедшие, но быстро забывает, потому что все время помнить об этом невозможно, как это было со мной в том трамвае.

Прогулочный катер так и не пришел. Не знаю, куда он подевался. Вообще-то я про него даже забыл. А сейчас мне стало немного жалко, что он так и не пришел. Но я как-то заметил, что когда ожидания не сбываются, то в этом есть и какая-то сильная свежесть и даже чистота, что ли, и она почти всегда сильнее того, чего ты ожидал.

Над причалом зажгли фонари, они отражались внизу, дробясь на черной воде, и выглядело это довольно-таки красиво, даже эффектно. Как будто внизу под ногами загорелась стая заморских рыб. Честно говоря, я не люблю эффектов,

но иногда получается так, что они возникают в нужное время и в нужном месте.

На следующий день позвонил Филипп и пригласил меня в кафе на Платановой аллее. Я давно донимал его вопросами по поводу тетрадки, в которой он писал про чудовищ и монстров. Конечно, там были не только монстры и чудовища, но, видимо, он готовил какую-то статью и делал выписки, в основном, про быков, путешествия Камозенса в Гоа и еще про дерущихся и плачущих женщин. Я и тут ему напомнил про тетрадку. Попросил рассказать про быков и женщин. Он пообещал, что расскажет, хоть и сморщился при этом, как будто надкусил по ошибке кислое яблоко. В общем, в три часа дня я отправился в кафе в надежде, что разговор пойдет о быках и плачущих женщинах, и так оно и оказалось, правда Филипп предупредил, что у нас всего час времени, потому что через час сюда придет его девушка.

Но Авдотья, так ее звали, пришла не через час, а как только мы уселись за столик. Однако то, как она пришла, и, вообще, ее появление – это начало новой истории и поэтому сначала доскажу про тетрадку.

Когда я пришел, Филипп сидел за столом, изучая меню. Он был в голубой рубашке и шортах. За окном тянулись автомобили, музыка из них бухала так, что дрожали стекла заведения. Меня всегда удивляло, как они там, внутри, выдерживают такую музыку, это же все равно, что колотить себя

по голове сковородкой. Я тогда еще зачем-то подумал, ну, попробуй, прочитай им эти записи из дневника Филиппа – что они поймут? Ничего не поймут, поверьте мне. У этих бедолаг вся голова отбита. Там ничего целого уже не осталось. Когда их встречаешь, например, в гостях, видно, что у них глаза, ни на чем не могут остановиться и все время бегают туда-сюда, словно он еще не вполне очухался от своей душегубки и думает по инерции про все то, про что он думал под эту адскую музыку, а теперь, когда она кончилась, не знает, что ему делать и куда себя деть. И тогда он лезет за смартфоном и начинает в нем копать все с тем же бессмысленным видом. Знаю я их, сто раз видел. Сам таким чуть не стал.

В общем, я достал тетрадку, где было написано про количество ударов пульса у лошади в минуту и для сравнения те же параметры для быка.

Там была вот такая запись: Бык (температура – пульс – дыхание) – 37,5–39 // 50–60 // 15–20 //. Лошадь: 37,5–38,7 // 24–44 // 8–16.

У быка и пульс, и дыхание намного выше, чем у лошади. Видимо, чтобы полтонны бычьей массы двигать, с ее помощью нападать и бегать – кислороду пережигается намного больше, чем у лошади. Поэтому сердце у быка гонит кровь быстрее. Поэтому можно сказать, что бык – спринтер, а лошадь – стайер.

Но вот что интересно, пишет дальше Филипп, если взять отношение между дыханием и пульсом, то цифра будет при-

мерно одной и той же для обоих. Примерно – 4. У быка она будет дрейфовать в сторону тройки, а у лошади – в сторону пятерки, в зависимости от того, что они делают, – отдыхают, гуляют или бегут. Самое смешное, пишет Филипп дальше, что у человека эта цифра колеблется от четырех до пяти, и так же в зависимости от того, чем человек занят – любит, спит или смеется.

Надо бы, конечно, проверить эти числа на себе, но я не очень представляю, как это я буду замерять себе пульс или дыхание, если к примеру, буду лежать в постели или где там еще, с красивой девушкой, в которую я влюблен. Просто не понимаю, как это можно будет сделать – замерить себе пульс и дыхание, потому что в этот момент забываешь про все на свете. А если не забываешь, то тогда тебе надо заниматься не девушкой, а сидеть в вычислительном центре и что-то там считать, пока не свалишься со стула, как одна моя знакомая, когда готовилась к экзаменам. Когда я первый раз влюбился, то стоило ей появиться, у меня и пульс и дыхание начинали зашкаливать так, что я мог не только со стула свалиться, а с чего угодно.

Но не в том дело. А в том, пишет Филипп дальше, что эти цифры – от тройки до пятерки и шестерки – это основные размеры русской и отчасти европейской поэзии. Это наш четырехстопный ямб, это элегический пятистопник сонетов, это Гомеров гекзаметр на шесть ударов.

Тут, конечно, возникает несколько вопросов, но пока что

я интуитивно чувствую, что влюбленная Эрато работает где-то посередине: 5–6 ударов, в зависимости от ситуации, а Калиопа – той нужен стайерский ритм, лошадиный, потому что она эпос, который может быть очень длинным. Короче говоря – бык не эпический персонаж, а лирический, хотя на первый взгляд, кажется, что все должно бы быть наоборот.

Я вошел и сел за столик.

– Что тебе заказать? – спросил меня Филипп.

Я сказал, что кофе и вермута. И еще мороженого. Филипп кивнул головой и повторил заказ, исключив вермут, официантке с красивыми коровьими глазами. Кармашек на груди ее блузки был надорван, и из его уголка торчала разлохматившаяся белая нитка, но она, кажется, этого не замечала.

– Не обижайся, братец, – сказал Филипп. – Если не возражаешь, к вину перейдем немного позже.

Себе он тоже спиртного не заказал, из солидарности, наверно. Он ведь был на войне, они там пили все, что горит. Это только кажется, что брат – исключительно светский, как говорится, персонаж, он пять лет назад вполне успешно переключился на работу военного переводчика, но про то, что он делал и видел там, на Востоке конкретно, никогда не рассказывал, говорил, что его тошнит от всего этого.

За стеклами кафе качались купы платанов, пронизанные солнцем, и, когда листва расходилась от ветра, я на время слеп от его лучей и какое-то время не видел даже тарелки, а одни черные пятна, но я не стал на них отвлекаться и спро-

сил:

– Плачущие женщины какое отношение имеют к быкам, Филипп?

Он усмехнулся, отпил глоток воды и наморщил лоб. Выглядел он, как какой-нибудь французский киноактер, но у тех всегда бывает очень умный вид, что, на мой взгляд, не соответствует действительности, я с ними пару раз общался, – а у Филиппа в этот момент вид был какой-то глуповатый. Это, наверное, потому что я задал вопрос, когда он думал о другом, и он не сразу сообразил, чего я хочу. Впрочем, он давно привык к моему «подростковому стилю общения» и собрался было отвечать, но тут вошла Авдотья.

Мне она не понравилась, хотя я и не встречал девушек красивее. Но, во-первых, на юге, под загаром, трудно различить, кто, действительно, красив, а кто не очень, а во-вторых, я, наверное, испугался. Потому что я всегда вижу, будет девушка иметь на меня влияние или не будет. И когда я посмотрел на Авдотью, то сразу понял, что она будет иметь на меня влияние, а я стараюсь от таких держаться подальше. Она была в простом платье по колено, в ее серых глазах пряталась горячая тень, и от нее шел теплый ток, как будто она только что с кем-то танцевала, а сюда зашла между делом выпить чего-нибудь и перевести дыхание.

Брат сразу же вскочил из-за стола и побежал ей навстречу. Мне даже неловко за него стало. Он поцеловал ее в щеку, подвел к нашему столику, выдвинул стул и усадил напротив меня. Потом он представил нас друг другу. И я понял, что эта девушка имеет влияние не только на меня, но и на брата. И самое паршивое было то, что на брата она имела влияние даже большее, чем на меня, это сразу было видно.

Я думал, что она тут же полезет в сумочку и достанет какой-нибудь подлый телефон, как это делают почти все девички от 12 до 40, но она не полезла и не достала. Если девчонка достает при встрече телефон, этот паспорт зомби, она перестает для меня существовать, но не потому, что это я так ре-

шил, а потому что девчонка с телефоном свое существование добровольно теряет, ее тут больше нет. Ее и так-то почти не было, а телефон ее полностью выключает, и даже то, что в ней еще было хорошего, сразу куда-то девается. Сами знаете, наверное, если только, конечно, не достаете вместе с ней на пару – свой. Телефон и все эти селфи и лайки – это конец всему. Я знаю, что говорю. Полная катастрофа! Я пробовал обсудить это с Филиппом, но он сказал, что я не прав, что это односторонний взгляд на вещи. Может быть. Но я все равно обрадовался, что Авдотья сидела напротив, не выкладывая перед собой телефона вместо удостоверения личности, и глядела не на ядовитый экранчик, а в глаза брату.

– И чем же ты занимаешься? – донесся до меня голос Авдотьи, и я понял, что это она обращается ко мне. – Ну, что любишь делать? – уточнила она, и я снова удивился ее глазам – серым и холодноватым, но с горячей темнотой внутри.

– Какая разница, – сказал я. – Вам это не может быть интересно.

Не пойму, как это получилось – ведь я просто хотел сказать то, что думаю, а вышло грубо.

– Ну, это как знать, – сказала Авдотья. – Тут сразу не угадаешь.

Солнечные пятна плясали у нее на лице и на платье, и она улыбнулась. И я неожиданно для себя улыбнулся в ответ и сказал:

– Я нырять люблю. Еще смотреть, как листва падает. И

еще модели самолетов – из бамбука и папиросной бумаги.

– Федор собрал несколько моделей, и они хорошо летают, – сказал Филипп. Он балансировал на задних ножках стула, уткнувшись носком ноги в стул, на котором сидела Авдотья, и крутил в пальцах незажженную сигарету. – Я до сих пор не понимаю, как это ему удалось.

– Правда, летают?

– Правда, – сказал я. Я видел, что ей действительно интересно и добавил:

– Нашли с другом в мастерской его деда несколько коробок с заготовками и собрали. Когда-то их продавали в магазинах для кружков «Юный техник», где ребята строили такие модели, так дед сказал.

– Я много видела моделей, – сказала Авдотья. – Но вот беда, – либо они не летали, либо их не собирали, а они летали сами по себе прямо из магазина. А это большая разница.

Она задумалась. А потом сказала: Вот что я хочу вам предложить, друзья мои...

– И что же? – отозвался брат. – Он перестал изображать из себя акробата и теперь сидел на стуле как все люди.

– Поехали в одно прекрасное место.

– Поехали, – сказал Филипп.

Вот за это я его любил. Хоть и злился иногда на него за нравоучения. А вот взять и сказать «поехали», не уточняя, куда и зачем, – мог только он. Хотя, может быть, и любой другой на его месте сказал бы «поехали», если бы его при-

глашала такая девушка, как Авдотья, и если бы он к тому же был в нее влюблен.

А то, что Филипп был в нее влюблен, было ясно и слепому.

6

Я сидел рядом с водителем и думал о Камоэнсе.

Те двое устроились на заднем сиденье и общались о чем-то своем, я не особенно вслушивался. Камоэнс никогда не был моим любимым поэтом, мне только одно его стихотворение понравилось, про то, как рыбак по имени Аноньо сидит на берегу рядом с лодкой, на которой горит фонарь и выкрикивает в море имя своей любимой, а ему никто не отвечает. Тут, по-моему, дело даже не в неразделенной любви или, например, не в том, что возлюбленная Камоэнса, скорее всего, погибла в кораблекрушении и он в память об этом написал сонет, а в горящем фонаре на мачте лодки и в дельфине, который прыгает в море.

На месте Камоэнса, я бы только это и оставил – лодку с фонарем и дельфина, ну и еще, может быть, имя, которое он правильно сделал, что не стал называть. Но в его время писали много и подробно, и он по-другому не мог, и я сидел рядом с водителем и все думал о солдате Камоэнсе, как он, бежал в атаку, а осколок бомбы попал ему в глаз, и с этого все началось.

Я подумал, что для того, чтобы стать поэтом, надо, наверное, чтобы тебя сначала как следует изувечили, иначе тебе всю жизнь будет чего-то не хватать для хорошего стихотворения. Звучит смешно, но, кажется, это правда. Правда, во-

обще, звучит чаще всего смешно.

А потом я увидел, как на Камознса нападает бык. У быка было человеческое лицо, а Камознс сидел на арене прямо напротив ворот, из которых бык выбегает, как на одном из офортов Гойи. Только на офорте человек сидел, выставив вперед шпагу и опираясь на стул, а в моей картинке он балансировал на задних ножках стула и смотрел не на быка, а на кого-то на трибуне. И еще у человека на моей картинке вместо лица была бычья морда, только не грозная и свирепая, а какая-то задумчивая.

Быки это те же – шары из света. И в этих шарах ничего, кроме света нет. Но поскольку в них свет тот же самый, что и в вас, то можно сказать, что в каждом быке вы есть тоже. Вот почему люди всегда любили быков, все дело в том, что бык это, может быть, наша родина – Америка для Колумба или Гоа для Камознса, или например небесный Иерусалим для Христа.

Бык это те же одуванчики, как и любой предмет. Вот он чудовище, полное сил и мощи, с окровавленным загривком и с неуловимым и смертельным рогом, способным сокрушить кости любому противнику, но смотрите, что с ним делается дальше. Он, как и человек, постепенно обессиливает и становится все медленнее. Такое ощущение, что он превращается одновременно в неодушевленный предмет, а вместе с тем, в нем все больше жизни. И вот тут-то от него начинают отлетать маленькие парашютики, как от одуванчика, если на

него сильно дунуть, только у этих на конце находится не семечко, а сам бык, но очень маленький и все равно живой.

И чем больше бык устает и чем больше из него вытекает крови, и ему уже ясно, что человека ему не достать, хоть, конечно, он все равно постарается это сделать, – тем больше он разлетается, как одуванчик, на других крошечных быков, которые разносят его словно семена по всем закоулкам арены. А часть их даже попадает вместе с дыханием в рот самому матадору или людям на лошадях, или даже в рот самой лошади, и тогда они могут его даже случайно проглотить, и он начинает жить в них совсем другой и все равно своей собственной, жизнью.

А человек на стуле, с бычьей грустной мордой, также разлетается на пушинки, распространяя себя все шире и шире навстречу быку и зрителям, но не потому, что он устал, а от другого чувства. Может, он хотел сказать девушке на трибунах имя, как тот рыбак, но не нашел его на языке или не выговорил из-за того, например, что захотел произнести его по-новому, как еще ни он сам и ни кто-то другой не произносил, – и тогда понял, что одним языком ему это заветное имя не выговорить, а можно сказать его лишь всем собой целиком.

И вот тут он и стал распадаться и разлетаться, как одуванчик, на себя самого, и его тоже стало много, и, разлетаясь во все стороны, он попадал в ноздри быкам и лошадям и в легкие людей, и даже летел за трибуны, за речку, попадал там

в воду, и течение несло его в Средиземное море или даже в Атлантику, где его глотали рыбы и дельфины.

Наверное, Камознс, когда писал свой сонет про рыбака, не стал произносить имя любимой женщины, потому что догадался, что тогда сам разлетится во все стороны и даже совсем исчезнет. А ведь это совсем разные вещи – страдать и убиваться на берегу, рядом с челноком, но при этом оставаясь самим собой и не теряя своего тела, или сказать это имя так, что разлетишься на тысячу частей, которые полетят неизвестно куда, потому что теперь не ты направляешь сам себя, а ветер и даже дыхание чужих людей.

И там, в моей картинке, я видел, как свет и крылатое семечко человека с бычьей мордой, а это теперь был Филипп, попало мне в рот, запершило, и я сглотнул и понял, что от любви и имени люди разлетаются. Что если влюбился по-настоящему, то таким, какой ты был до этого, ты остаться не сможешь, а либо будешь повторять неведомое имя на берегу моря, пока не отчаешься, либо отправишься в новую жизнь по городам и людям, себе не принадлежа и собой не владея.

Потом такси остановилось, и я услышал, как вокруг, в наступившей тишине, словно серебряные колесики, трещат цикады. Филипп протянул через мое плечо деньги водителю, и мы вышли из машины.

Нам туда, – сказала Авдотья, показывая в сторону горы, похожей на верблюда. – Пройдемся немного.

Грунтовая дорога вела вверх, а сбоку распахнулся гигантский амфитеатр долины, по краям которой были видны небольшие домишки, и на зеленом склоне там и тут паслись лошади, казавшиеся отсюда совсем крошечными. На той стороне горной чаши была прорублена просека, похожая на шов, внутри которого угадывались почти неразличимые отсюда мачты высоковольтной линии. Дальше долина нырнула вниз и вздымалась уже вдали синим гигантом – покатою горой с еле различимой радиовышкой на вершине, а за ней угадывалось далекое море. Отсюда оно казалось выцветшим, прозрачно-голубым и почти незаметным. Если б я не знал, что оно там есть, подумал бы, что это небо.

Мы пошли по каменистой дороге, что, петляя, забирала все выше и выше. По краям рос терновник, высились одичавшие яблони и орешник. С непривычки я сразу выдохся. Но уже успел спросить Филиппа про быков.

– Бык неуловим, – говорил Филипп. – Он может означать и мужчину, и женщину, и агрессию, и страдание, и морскую стихию, и саму землю. Он как никто связан со смертью. Он носит в себе столько жизни, что, убивая быка, люди умножают жизнь для себя на земле, вспомни корриды или танцы с

быками на Миносе.

– Но быка-то они все равно убивают, – сказала Авдотья. – Печально, что для умножения жизни надо время от времени кого-то убивать.

– Ну, это и не убийство почти, – сказал Филипп. – Бык идет дальше своей невидимой дорогой.

– Думаешь, он идет дальше? – спросила Авдотья. – Она-то дышала почти что ровно, словно по паркету шла.

– Он всегда идет дальше, – сказал Филипп. – Он еще до своего рождения шел дальше. И после он идет дальше тоже. Иногда вместе с матадором, которого убил.

– Ты был в Испании?

– Недолго. Можно считать, что и не был.

– Не хотела бы я быть быком, – сказала Авдотья. – Она теперь тоже слегка задохнулась, было слышно. А я так еле тащил ноги.

– А тебе бы пошло, – сказал Филипп. – Ты была бы красивым быком. И несла бы себя на себе самой через воды Азии к цивилизованным странам.

– Не хочу, – сказала Авдотья. – Не хочу к цивилизованным странам. – И добавила. – Бык это слишком утонченно для меня, слишком хрупко. После твоего рассказа мне кажется, что все быки из стекла.

– Так оно и есть, – сказал Филипп. – Сквозь них видно то, что без них не разглядеть.

– Филипп, – прохрипел я – расскажи про плачущих жен-

щин.

– Сейчас, – сказал Филипп, – сейчас. Сейчас я расскажу самое интересное про плачущих женщин...

– Пришли, – сказала Авдотья.

Впереди было небольшое озеро, и на его берегу стоял домик под зеленой крышей. Одну из его стен увивал плющ, а с другой стороны стояло несколько ульев и обшарпанный внедорожник. Вода в озере была мутно-голубой, но мне все равно понравилось. Наверное, потому что, когда я смотрел на озеро и домик с ульями, то видел не только их, но еще, как в воздухе между мной и озером шли куда-то бык с матадором. Матадор был печальный и с разрезанной штаниной – ее разрезали во время операции, когда пытались его спасти после удара рогом в бедро, а бык был большой и черный. Теперь они шли вместе и больше не кружили друг возле друга. Матадор еще не совсем пришел в себя, прихрамывал и опирался на холку быка. Ничего необычного в их появлении не было, они шли себе вперед довольно-таки буднично, примерно так, как ходят таджики за своими овцами в поселке пониже, или как сами овцы, или, например, лошади на склоне долины.

Но вокруг овец, лошадей и таджиков не было слабого сияния вроде зажженного на солнце спирта, а вокруг матадора и быка оно было. И вместе они казались одним существом. Не знаю почему, но со мной так бывает, что я иногда вижу два разных предмета как один и тот же. Например, летящую

бабочку и дом, стоящий очень далеко от нее, или автобус с туристами и глаза пожилой армянки, или мужчину и женщину, которые друг друга никогда в жизни не видели и не увидят, а я знаю, что они одно существо, и от этого мне даже делается жутковато. Но радости, конечно, когда понимаешь, что они – одно, все равно больше.

И еще я почему-то вспомнил, что эмблемой автозаводов «Ламборгини» и самих автомобилей, которые они выпускают, служит изображение черного быка, но это к делу не относится, уверен. Впрочем, кто знает, что относится к делу, а что нет? Я же не роман пишу, не рассказ, а так, всякую всячину.

В домике жил двоюродный брат Авдотьи с женой. Ему было лет тридцать, плотный мужик среднего роста, в стильной цвета хаки рубашке. Я его не особо разглядывал. Постепенно выяснилось, что на пару с компаньоном из Москвы он решил поднять здесь производство чая – раньше тут был чайный совхоз, а потом заглох, но чайные кусты остались, и брат Авдотьи надеялся организовать прибыльный бизнес «самого северного чая в мире» – так он рекламировал свой продукт. Дом он купил у прежнего хозяина за какие-то гроши и жил в нем наездами с самой весны.

Все это он рассказал во время обеда на открытом воздухе. С ним рядом сидела жена, тоже плотная и красивая. Волосы у нее были забраны в пучок, и она все время говорила о поездке в Таиланд, которую они планировали на осень.

Солнце передвинулось, и теперь море стало темнее. Я сидел, пил домашнее вино и смотрел на море, пока Филипп и Сергей, так звали брата, о чем-то спорили – я не особенно вслушивался. Я смотрел, как темнеет море и в чашу долины внизу под нами вползает сизый туман. Он казался похожим на медленных змеев, ползущих вокруг гор, обволакивая их и наполняя долину сизыми и матовыми островами, которые то таяли, то расширялись, захватывая другие, медленно дрейфующие рядом, и тогда за ними уже не было видно ни деревьев, ни огней, которые зажигались внизу, в домиках у дороги. Я так ушел в это зрелище, что напрочь забыл, где нахожусь. Со мной такое бывает.

– ...Пойдем, покажу, – сказал Сергей.

– И он, что, действительно, работает? – голос брата.

– Работает.

– Да ничего он не работает, – сказала жена Сергея, – поломался. – А как починить, никто не знает, какой-то детали не хватает.

– Пойдем, пойдем, братец, – шепнула мне на ухо Авдотья. – Затем сюда и ехали, очнись, приятель.

Мы пошли к темному хозяйственному сараю, внутри которого вспыхнул неяркий свет, это Сергей зажег лапочку. Там среди всякой рухляди, старых ящиков, покрышек и пыльных ватников, висящих на гвоздях, виселась статуя из дерева, величиной с человека. Пахло пылью и затхлостью.

– Вот он, – сказал Сергей. – Китаец.

Он подошел к статуе, пошуршал проводкой и воткнул вилку в розетку на стене. Внутри статуи что-то щелкнуло, зашумело, и внезапно зеленые ее глаза вспыхнули и открылись. Стала видна пыль на голове и лицо из темного дерева с широкими скулами и узкими глазами. Лицо мне понравилось, серьезное такое и сосредоточенное, будто бы он не просто китаец из дерева, а в этот момент думает про какую-то твою трудность и как ее решить. Такое редко бывает в статуях, что они тебе хотят помочь, а в нем это было сразу заметно. Мне он поэтому сразу понравился. Он сидел по-турецки, а на коленях у него было что-то вроде столика, на крышке лежали бумаги, и замерла деревянная рука с пером в пальцах.

– Сейчас, – сказал Сергей, – момент.

Он что-то поискал на спине у китайца, открыл крошечную дверцу и, видимо, нажал рычажок или кнопку. Рука механической куклы вздрогнула и пошла вдоль листа. Я видел, как из-под пера потянулись крошечные буквы довольно-таки разборчивого почерка. Не знаю, как другие, а я замер. Китаец писал. На меня это подействовало как сеанс гипноза. Я не мог шевельнуться, зато мне казалось, что я угадываю все слова, которые ложились на бумагу под рукой куклы, и я видел, что это стихотворение. Внезапно из нутра китайца послышался тихий звон колокольчиков, мелодичный и неторопливый. Движение руки прервалось, глаза мигнули и закрылись.

– Вот, – сказал Сергей, вынув исписанный листок из-под
деревянной руки, – вот!

И он протянул листок Филиппу.

На листке было следующее:

Красная кукла входит к тебе...

.....

снег ложится на берег озера,
считает пульс у тебя на шее

....

Северный ветер, травы в инее,
убитые солдаты...

...

Зачем тогда в венке из роз
к теньям не отбыл я...

– Ну что, братец, – спросила меня Авдотья, – как тебе кук-
ла? Смог бы такую собрать?

8

– А откуда она взялась? – спрашивал я Авдотью, когда мы ехали обратно в такси.

– Принадлежала прежнему хозяину, – сказала Авдотья.

Я чувствовал, что сейчас ей этот разговор неинтересен, потому что они сидели с братом на заднем сиденье у меня за спиной и, кажется, обнимались, но я все равно продолжал ее спрашивать, ничего не мог с собой поделать. Я очень разволновался почему-то в тот момент, когда китаец, дрогнув рукой, стал выводить строчки на пыльной бумаге, и до сих пор не мог успокоиться, я даже почувствовал, что меня время от времени знобит. Но это был приятный озноб. Не так, чтобы совсем приятный, но было в нем и что-то приятное тоже.

– А где он теперь, этот хозяин? – продолжал я допытываться, изо всех сил стараясь не обернуться к ним.

– Да кто ж его знает, – отвечала Авдотья. – Уехал куда-то. – Голос у нее был такой, словно она только что взобралась на пятый этаж и теперь задыхалась, хоть и стремилась не подавать вида, что воздуха не хватает.

– Так надо его найти, – сказал я. – Есть же какие-то концы.

– Угу, – промычала Авдотья.

– Этот Сергей говорит, что ключ потерян, что стихотворения, которые пишет Китаец – белиберда, потому что не хватает детали, декодера, расшифровщика отобранной инфор-

мации на последнем этапе...

– Похоже на то, – говорит она.

– А мне кажется, что это просто такие стихи. И... они очень красивые, особенно про то, как входит красная кукла.

Я понимал, что мне давно пора замолчать, но продолжал говорить все подряд. Уж очень сильно на меня подействовал Китаец.

– Я как прочитал, что красная кукла входит, у меня, прямо в животе похолодело, я ее увидел, эту куклу. Такая с красным лицом, очень, очень красивая, без ног – она входит в двери домика у озера, как в пьесе дзёрури. И ее лицо, красное, как петушиный гребень, видит тебя всего, но не как другие, а как тебя никто не может видеть, кроме нее.

Таксист покосился на меня, но ничего не сказал, а я тут же про него забыл. Мне было важно рассказать то, что я понял про куклу с красным лицом.

– И ты лежишь там на кровати один и давно никого не ждешь, потому что запутался в мыслях, и дождь со снегом идет за окном, а тебе уже неважно, только одеяло сырое, а тут она входит, и она не просто кукла, а ее красное лицо как ответ сквозь твои мысли и твое желание перестать жить. И тут ты начинаешь видеть себя ее глазами и от этого чувствуешь радость, и как снег летит, и что все – живое, и ты тоже живой, потому что ты и есть родник, который бьет и играет, и делает все вокруг тебя живым – и дерево, и снег, и озеро, и даже эту куклу.

Тут я замолчал и стал думать про стихи и про красную куклу, но уже про себя. И еще я подумал, что, может, это был Камоэнс, который лежал там под сырым одеялом, – говорят, что последние годы он все больше лежал под сырым одеялом и вспоминал свою возлюбленную. И вот он лежал, одноглазый, нищий, почти что, в отчаянии, что у него как будто нет рук – всех этих боев, в которых он участвовал, зыбкой палубы под ногами, а главное, его любимой – ведь это и были его руки и ноги, а теперь он словно обрубок, словно у него только грудь и живот остались, а остального нет, вот я и думаю, могла эта красная кукла придти к Камоэнсу?

Дверь сзади хлопнула. Мы стояли перед моей гостиницей.

– Вылезай, – сказал Филипп, и я выбрался из такси.

– Знаешь, то, что ты сказал про стихи куклы интересно, но последние две строчки – это все-таки стихи Дельвига. А значит, какая-то деталь в автомате действительно сломана или ее там недостает. Поэтому мы видим на выходе одни обрывки и фрагменты, которые не могут сложиться в целое. И впрямь создается впечатление, что словно не хватает декодера, с помощью которого стихотворение могло бы проявиться в законченном виде. Одним словом, к шифру, который кукла выдает на бумагу, нужен ключ.

Надо же! Оказывается, он слушал мой бред в такси.

Я стоял и смотрел на Филиппа и на красное пятно от помады на его шее, и мне было за него обидно. Конечно, Авдотья очень красивая девушка, но она могла бы сказать ему,

что у него пятно на шее от ее помады. Правда, может быть, в темноте сама не разглядела. Но как бы то ни было, а брат выглядел полным идиотом, рассуждая о Дельвиге и ключе к стихам с этим пятном. Я думал, сказать ему о помаде или нет, но решил не говорить. Тем более, что Авдотья ждала его на заднем сиденье, и они, видимо, отправлялись куда-то еще.

– Спасибо, дружок, за компанию, – донесся из темноты голос Авдотьи. – Уверена, что ты смог бы починить Китайца.

Я попытался различить ее лицо в темноте салона, но у меня ничего не вышло – видно было лишь бледное пятно в подсветке уличных ламп.

Я пошел к гостинице, нащупывая в кармане брюк сложенный вчетверо листок – стихи Китайца. Мне казалось, что стихотворение о красной кукле должно иметь еще какой-то смысл, который не понять ни брату, ни его девушке, пусть хоть в лепешку разобьются. Может быть, оно и написано с таким расчетом, что его поймет, как надо, только один человек. Хотя, конечно, если вдуматься, то все лучшие, стихи когда-либо написанные, написаны с тем же самым расчетом. Это всё вранье, что стихи понимают все. Ну, если даже и не все, то считается, что знатоки и любители поэзии уж точно их понимают. Чушь! Лучшие стихи понимает кто-то один. Причем, вовсе не тот, кто их написал. А тот, о ком они написаны.

Утром в гостиницу позвонил Филипп, сказал, что есть дело и предложил встретиться у железнодорожного вокзала. Через час я был на месте.

Оттуда мы пошли по одной из улиц, ведущей в сторону моря. С обеих сторон она была застроена дорогими ресторанами с зеркальными стеклами, глянцевыми бутиками с яркими витринами, стильными зданиями офисов. В лучах солнца все это горело, сверкало и переливалось, машины томились в пробках, бухая дикарской музыкой, а сверху сияло синее небо.

Напротив одной из витрин с манекенами, одетыми в нижнее белье, Филипп остановился в нерешительности и стал искать взглядом номер дома. Потом неуверенно толкнул почти незаметную дверь, расположенную между магазином нижнего белья и домом, в котором торговали фруктами.

Дверь подалась, и мы вошли внутрь. Сразу за дверью начинались трущобы. Контраст с солнечной улицей, с ее разодетыми туристами был ошеломительным. Минуту назад, глядя на витрины с ювелирными изделиями и дорогой обувью, я ни за что не догадался бы, что за ними сохранилась целая улочка, вернее, тупик, в котором живут люди. В щели между двух домов было сыро и сумрачно, под ногами лежали позеленевшие от времени кирпичи, какой-то полуголый

мальчишка играл с собакой, и пахло кислятиной. Мне захотелось назад, к солнцу, к платанам и запаху молотого кофе из кафе, но Филипп уже поднялся на деревянное покосившееся крыльцо и толкнул дверь внутрь. Ненавижу такие места.

В темном коридоре Филипп постучал в одну из дверей, и мы вошли в темную комнатку, освещенную тусклой лампой торшера, и поэтому я сначала ничего не мог разобрать из обстановки, а потом увидел книжные полки, несколько репродукций на стенах, большой старый диван и лежащую на нем женщину в спортивном костюме. Я не сразу понял, что у нее не было ног, увидел через пару минут, когда глаза привыкли.

– Здравствуйте, Клавдия Петровна! Простите за вторжение, – вежливо обратился к женщине Филипп. – Мы вот по какому поводу. – И он протянул ей почтовый конверт.

Женщина, недоверчиво глядя на Филиппа, взяла конверт и поднесла к глазам.

– Господи, – сказала она, – господи! Откуда это у вас?

Я до сих пор помню эту картинку – Филиппа в тусклом свете лампочки, сгорбившегося над диваном и лицо пожилой женщины с круглыми и словно бы плачущими глазами, глядящими на Филиппа снизу вверх.

Потом, когда мы вышли на улицу, Филипп рассказал мне, что при прощании с хозяином он неожиданно получил в подарок несколько листков, исписанных рукой поэта-куклы и среди них обнаружил почтовый конверт, вероятно, попав-

ший сюда случайно. Заглянув в него, он обнаружил письмо, в котором автор благодарила адресата за чудесное и, как она выразилась, очередное «волшебное» стихотворение, полученное в этом месяце, «пятнадцатое в году, я веду им счет. Если бы не эти стихи, освещающие мою жизнь с той ее стороны, что пока что способна ожить при их чтении, – писала дальше женщина, – я прекратила бы свое поганое существование, тем более что осталась сейчас, после смерти мамы, совершенно одна».

Филиппа письмо заинтересовало. Вероятно, оно было написано в то время, когда Китаец еще не сломался и его хозяин имел возможность месяц за месяцем отсылать своей корреспондентке «волшебные стихи», сочиняемые таинственным автоматом до тех пор, пока не пришла в негодность его ключевая деталь. Воспользовавшись обратным адресом на конверте, Филипп решил попытать счастья и разыскать его отправительницу.

Сейчас, в комнате, она рассказывала Филиппу что-то вроде своей истории. Точнее говоря, история складывалась словно наощупь из ее бессвязных, разваливающихся фраз. Иногда она начинала говорить чисто, но ненадолго. Она произносила слова с трудом, хриплым голосом и в сильном возбуждении. Мне показалось, что она была под действием какого-то препарата. Меня она, кажется, не заметила и говорила с Филиппом, глядя на него белыми плачущими глазами. Волосы у нее тоже были белые с желтизной, а руки тряслись.

В комнате пахло уборной. Я устроился на табурете рядом со старой радиолой «Ригонда», из тех, что выпускали лет с тыщу назад, и старался не втягивать в себя воздух, но у меня это плохо получалось.

Дело в том, что Филипп, как это ни странно звучит, действительно умел уважать и любить людей, даже случайных собеседников. Человеку, с которым он общался, быстро становилось ясно, что он самый желанный из всех возможных собеседников этого красивого малого с участливой улыбкой и понимающими глазами. Самое смешное, что так оно и было. Второго, такого, как Филипп, я больше не видел. О нем теперь много болтают всякой чепухи, но никто не запомнил этой главной его особенности, даже дара – видеть тебя так, как будто вы с ним вместе прямо сейчас родились на свет и разглядываете друг друга (во всяком случае, уж он-то именно так тебя разглядывал), восхищаясь и радуясь тому, что это произошло и что вы оба оказались рядом, и это все, что вам нужно теперь в жизни.

Безногая женщина, лежащая на диване в нищей комнатке, сорок лет назад была студенткой одного из столичных вузов, очаровательной девушкой с румянцем во всю щеку, готовой танцевать до упаду всю ночь со своими многочисленными поклонниками. Училась она то ли в ГИТИСе, то ли во ВГИКе, снялась в фильме одного из тогдашних модных режиссеров, имя ее прогремело на всю страну. Слава пришла внезапно, как стук в ночи. Поклонники, фотосессии, выгодные

предложения – все это стало естественным сопровождением на пути к следующему, казалось, еще большему успеху.

Вся ее жизнь изменилась в несколько секунд, когда прозрачным майским днем, летя на велосипеде с Ленинских гор навстречу цветущей набережной, она попала под колеса грузовика. Ей ампутировали ноги, зашили несколько ран и через месяц выписали. Друзья помогли ей добраться до родного города.

Несколько лет назад, после смерти матери, оставшись одна, она решила покончить с собой, но тут пришло первое письмо со стихами. Потом еще одно и еще.

– Это были необычные стихи, – сказала она. – Я таких еще никогда не читала. В них словно бы светили Луна и Солнце, словно бы улыбались и переговаривались. И было видно, что они живые, как и другие звезды. И про что бы ни были стихи, они всегда были тут – живая Луна и живое Солнце.

– Кто их писал? – спросил Филипп.

Женщина посмотрела на него, словно не понимая вопроса. Потом глаза ее прояснились, и она сказала:

– Он подписывался Тай Бо, и он попросил разрешения скрыть... свое настоящее имя. Мои письма забирал с Главпочтамта кто-то из его друзей. Я и писала на имя друга.

Я спросила, откуда он узнал мой адрес. Он ответил, что у нас много общих знакомых, но ему не хотелось бы их по ряду причин называть. А потом переписка внезапно оборвалась.

Теперь она говорила гладко, почти без запинки.

– Они здесь у меня, все эти письма, все до единого, но я их никому не покажу, вы, наверное, меня понимаете?

– Понимаю, – сказал Филипп.

– Может вам что-то надо? – спросил Филипп, когда мы прощались. Но ей ничего было не нужно. Она попросила, если можно, оставить ей конверт с ее письмом. Мы вышли на улицу. Я все думал, что надо бы попросить у нее хотя бы взглянуть на те стихи, что написал ей Китаец, пока не сломался, но, поразмыслив, промолчал.

А когда мы дошли до моря и запахло водорослями и йодом, темная комнатка стала казаться иллюстрацией из какой-то старинной повести, прочитанной до конца, хоть и не очень складной. Все же удивительна эта способность событий – превращаться в литературу. Сам не знаешь, чего больше от этого хочется, плакать или плевать.

10

Мы сидим с Авдотьей и Филиппом за столиком на веранде кафе, у нее белые ноги и цветные шорты, она приехала на велосипеде, но мы все перепутали лица, я говорю немного сбивчиво. Это относится не только к нам троим, история с лицами, она имеет отношение к каждому человеку. Можно представить себе пространство из лучших объемов вашей жизни, в которых пахло сиренью или сигаретным дымом, или тонким запахом тумана, водорослей с моря. И вы видите, что этот прекрасный объем вашей жизни – без границ и связей – вбирает в себя раковины. Но не просто раковины, хотя среди них есть и парочка мокрых рапанов, только что вытасненных из воды, – в основном это поющие и сухие ракушки, блуждающие по вашей жизни, по вашему счастливому объему в воздухе и расппевающие тихие песни.

Вы таких песен еще не слышали, хоть и мечтали всю жизнь, хоть и знали, что где-то да должна быть волшебная музыка, от которой вся жизнь – словно запах сирени или поцелуй на причале, только если запах сирени и поцелуй иногда кончаются горечью или просто ничем, то пение ракушек устроено так, что не становится горечью, вообще, никогда ничем плохим не кончается, а, наоборот, с каждым мигот набирает силу и глубину, и вы наконец-то понимаете, что есть такие места, где счастье движется не к слезам и разлу-

ке, а только в одну свою сторону – становясь все глубже, все обширней, все легче и таинственней. Как будто кто-то взял и отменил все наши правила и законы.

Вы еще побаиваетесь, думаете, что вот оно сейчас возьмет и кончится, возьмет и, как всегда, оборвется, но даже эти ваши предательские мысли тут теряют свою силу – оно не кончается, это фарфоровое, живое пение живой горячей керамики, которая теперь, витая в воздухе и образуя самые разные фигуры траекториями тихих раковин, тем самым создает все новые вариации вашей музыки, напоминая отчасти множество фигур шахматной партии. Но если в шахматах количество комбинаций ограничено, то тут, как вы начинаете постепенно догадываться, оно – бесконечно, потому что все эти ракушки, включая двух мокрых рапанов, выбрались каким-то образом из вашей грудной клетки, которая внутри бесконечна. И поэтому все новые раковины восходят из нее как пузырьки воздуха. И поскольку они не лопаются, как пузырьки, то продолжают жить и петь, а вы уже догадываетесь, что пение и танец блуждающих, словно звезды, раковин – это и есть вы, не придуманный, не отвердевший, а настоящий, изначальный, всамделишный.

А Авдотья сидела с белыми ногами на стуле и смотрела на брата холодно-жаркими серыми глазами.

– Надо было взять эти стихи, о которых она обмолвилась, – говорит она. – Впрочем, неважно. Я бы нашла такого человека, который пишет тебе стихи год за годом, даже если

бы у меня не только ног, но и рук не было бы.

Она смеется. Но смех у нее деланный. Я вижу, что ей больно, только не понимаю, почему.

– Я, вероятно, еще как-нибудь загляну к ней, – говорит Филипп.

Нам приносят кофе, по запаху чувствуется, что хороший, но я кофе не пью и дожидаясь чая.

Мне кажется, что у нас нет ни рук, ни ног, как у бутона розы. Бутону розы, для того, чтобы быть, не нужны руки и ноги. Медузе они не нужны и камню тоже. В определенных ситуациях руки и ноги – это лишнее, я бы даже сказал, нечто провинциально-преувеличенное. Недаром говорят, что руки бывают загибающиеся.

Мы сами могли бы сейчас стать такими волшебными раковинами – и Авдотья, и Филипп, и я. Стать парящими в синем воздухе раковинами радости, которые изменяют свою счастливую песню в зависимости от фигуры, которую они образуют, двигаясь в воздухе, ни на что, кроме тихого пения, не опираясь.

Мне кажется, что все в начале так и выглядело – только раковины, похожие на рот Авдотьи немного влажный от кофе, двигались и, в зависимости от мелодий, которые они извлекали своим движением друг из друга и из ниоткуда, они становились тем, что потом люди стали называть домом или деревом, или холмом, словом, любой вещью из тех, что нас окружают – от пеленок до креста на могиле. Только сначала,

да и сейчас тоже, никаких могил не могло быть, потому что могилы, как и время, придумали люди, разучившиеся понимать язык раковин – свой собственный язык.

Я помню порог в коридоре одного монастыря и выставленные мужские ботинки у входа в келью. Не знаю почему, но меня тогда взяла жуткая тоска от этих ботинок, стоящий у дверей. Какая-то безысходность возникла. Зачем монаху выставлять ботинки у кельи, если он раковина. Но, наверное, он забыл, кто он такой, и все остальные забыли тоже. Вот мы и выставляем ботинки за дверь, а из них не прорастет сосна, не запахнет хвоей, ничего с ними не будет – будут себе там стоять, пока их не наденут на то, что человеку нужно еще меньше, чем язык.

– Хочу, – говорит Авдотья, – хочу. – И я вижу, как руки и белые ее ноги становятся все менее убедительными, призрачными, как ракушка ее тела выступает наружу, чтобы петь другим свои песни.

Люди – это когда ракушка жадничает, начинает чего то сильно желать, тянется схватить, и таким образом (а раковины до этого были всемогущими) возникает рука; или ракушке хочется самой испытать страх любви и ее невероятный крик, и тогда у нее возникают две ноги, и выются волосы, и язык начинает быстро-быстро говорить – сначала лепетать, как младенец, а потом бормотать какую-то фальшь.

Мало кто сохранил в себе ракушку – Авдотья сохранила. Ее еще можно было иногда видеть. Но, в основном, ракови-

ны парящие в воздухе обратились в маски, разнесшие чудесную песню на множество твердых слов и обличий, и маски в театре, переговариваясь и страдая, до сих пор словно пытаются что-то вспомнить. А вспоминают они в течение всего представления музыку парящих ракушек и то, кем были люди и вещи, пока у них не было рук и ног, и если драматург велик, то с помощью актеров пьеса вспоминает людей, какие они есть на самом деле. И от этого многие плачут.

Так я иногда вспоминаю Авдотью.

А брата я вспомнил давно, потому что наши ракушки пели, не переставая. Ну, не скажу, что такая жизнь сказка. Я бы сказал, что кровь течет и течет, а боль и радость все равно переплетаются, и все же пение не умолкало. Если оно умолкнет, то...

Тут мне принесли чай. Я хотел попробовать, но он оказался слишком горячим.

Быки, и ракушки, и женщины. Вот что сбивает с толку. Куда вы ни глянете, вся история мира – это история отношений между быками, ракушками и женщинами. Я понимаю, что если бы я такое сказал вслух, то меня приняли бы за идиота. Поверьте, я знаю, что говорю. Но я перестал заводить разговор о таких вещах, говорить про это людям, у которых в голове бухает музыка, а таких большинство.

Зачем им говорить про быков и женщин. Все равно они ничего не поймут, проверено. Не потому что они сами олухи, а потому что их такими сделали, а они не особо возражали.

Так что не стоит говорить ракушке, что она на самом деле ракушка, если она к этому не готова. Может решить, что вы издеваетесь или не в себе. Они много чего могут решить по этому поводу, но все сводится к одному – вам не место среди нормальных людей, отряда сапиенсов, который они с такой гордостью представляют.

Брат, вообще, говорит, чтобы я щадил людей и осторожно выбирал собеседника.

– Понимаешь, братец, не все видят вещи такими, какими их видишь ты. Не вторгайся в их мир с непонятными для них идеями, это агрессия. Просто постарайся проявить к ним и к себе сочувствие.

Стоит еще, конечно, подумать про тот сонет с лодкой и рыбаком, но мы сейчас собрались на пляж, велосипед Авдотья оставит здесь, и мы поедем на такси за город, где пляжи чище, чем здешние, да и народа там поменьше. Я не возражаю. Мне с ними хорошо, к тому же я с удовольствием поплаваю.

В тот вечер я впервые видел Авдотью пьяной.

Это было забавное зрелище, хотя и немного страшное. Мы вернулись с пляжей, где плавали и ныряли в прозрачной зелено-синей воде, через которую видно было дно с водорослями, а потом валялись под солнышком, и я лишний раз убедился, насколько Авдотья красивая девушка, потому что многие девушки красивы только в одежде, а она была красива и почти что голой, потому как раз, что по-настоящему голой, как, например, девушке-стриптизерше, ей не бывать из-за тихой внутренней подсветки, в которую она, как выяснилось, все время одета. Я и раньше это заметил, а сейчас с улыбкой думаю, что по ночам она светится, как стрелки на тех часах, которые набирают днем свет, а потом, ночью, отдают его назад какое-то время – это зависит от того фосфорного состава, которым эти стрелки покрыты. Так вот у Авдотьи состав был, что надо, и вечером я в этом убедился.

Мы сидели в баре с хорошей музыкой, а таких баров почти что и нет, и Авдотья взяла и напилась. Я сначала не понял, почему это она вдруг стала выглядеть как маяк. Не связал это с выпивкой. Она стала прямой и остолбеневшей, с оставившимся взглядом и какой-то безногой. Так она и перемещалась в пространстве.

Было такое впечатление, что она не ходит, а плавает и ни

черта не видит из того, что происходит вокруг. Но здесь это никого не удивляло, кроме меня.

Филипп тоже был каким-то задумчивым и, как и она, ничего не видел. Я еще подумал, что, может быть, между ними что-то произошло, пока я плавал, а они оставались на берегу и о чем-то там горячо спорили, а потом замолчали и всю обратную дорогу в машине не сказали ни слова. Но это была только догадка, я в их личную жизнь старался глубоко не вникать, потому что это не очень хорошо – вникать в чью-то личную жизнь.

Внезапно она села рядом со мной и сказала:

– Послушай, братец! Мне нужен твой совет.

– Шутите? – сказал я. – Нашли с кем советоваться.

– Именно ты мне и нужен, братец, – сказала Авдотья, глядя сквозь меня неподвижными глазами. Ох, и хороша же она была – прямо красавица в стеклянном гробу!

– Ну, неважно, – добавила она. – Ты вот что мне скажи. Ну, насчет того-этого. Насчет отношений между мужчиной и женщиной – как ты их понимаешь, а? На кой ляд они вообще нужны?

Я, конечно, расстроился. Терпеть не могу выражений вроде «того-этого». Это мой недостаток, говорит Филипп. Если человек разговаривает неправильно или делает ошибки в простых словах, или ставит не там ударение – мне кажется, что он словно бы не так одет. Ну, словно бы у него на ногах старые носки, от которых воняет, и как бы он там ни умни-

чал и ни острил, а все его шутки и весь его шарм теперь уже не могут этой вони перебить. А он о ней даже не догадывается, вот что интересно. Филипп несколько раз объяснял мне, что речь это не носки и даже еще и не человек как таковой но мне кажется, что на этот раз Филипп был неубедителен, а такое, надо сказать, случилось с ним крайне редко.

– Тебе вот, например, нужна девушка, дружок? – спросила Авдотья, глядя на меня неожиданно ясными глазами.

Я хотел отшутиться, но вдруг почувствовал, что говорю какую-то чепуху, которую, дураку ясно, стоит оставлять при себе, если не хочешь испортить все удовольствие от вечера.

– Слово «нужна» тут не подходит, – говорю я.

– А какое подходит, – спрашивает меня Авдотья.

– Либо случится, что я встречу ту самую девушку, с которой мы будем понимать друг друга, либо не случится.

– Ты какой-то старомодный, дружок, – неприятным голо-сом протянула Авдотья, – какой-то скучный. Разве не стоит в твоём возрасте быть попроще? Встречаться с девушками, потому что они нравятся, и все тут.

– Может, и так, – говорю я. – Каждый для себя решает.

– Сомневаюсь, – сказала Авдотья. – Она посмотрела в сторону танцующих. – Не думаю, что они что-то решают. Нет, не думаю. Живут себе, и все тут. Разве жизнь сама о них не позаботится? Зачем им что-то решать?

– Иногда нужно решать, – говорю я. – Иначе ты не человек.

– О! – говорит Авдотья. – О!

В руках у нее бокал, и она отпивает из него глоток.

– Значит, ты решаешь, кто тут человек, а кто нет, малыш? – спрашивает она.

– Да нет же, – говорю я. – Я про них не решаю. Я про себя решаю.

Я говорю тихо, словно стыдясь чего-то.

– Ладно, говорит она. – А в чем тогда ценность близости? Ну, ты понимаешь. Ценность секса.

– Мне кажется, это когда двое становятся одним единым, – говорю я и замолкаю. – Это когда без другого и тебя не существует.

Тут я одергиваю себя и благоразумно замолкаю. Я не готов говорить с ней про близость. Тут говорить особенно и не нужно, потому что слова ничего не скажут. Близость для того и нужна, что заменяет слова или даже их совсем отменяет, потому что включается другой язык, который не с языка и губ идет, а из-за ребра. Тихий такой, больше мира и даже больше его деревьев. Но это можно и по-другому описать, если, конечно, кто-то внимательно тебя слушает. И я не выдержал и решил сказать про это девушке.

– Я иногда вижу, – говорю я и чувствую, как меня трясет, – как вы с Филиппом смотрите друг на друга. Это и есть близость. Только этот взгляд должен быть еще глубже. Таким глубоким, как ни у кого другого, как даже у вас самих не всегда выходит. Он, он... как простор без краев, который

может вместить в себя все. Он, как арена с быками, – говорю я, зная, что бесполезно, – да арена.

Я продолжаю говорить и больше не слышу своих слов, потому что вижу арену с быками. Они крупные и тяжелые. Они тяжкие, как пианино, черные, с натянутыми внутри струнами, земля под ними проседает. Филипп и Авдотья смотрят друг на друга и высекают из окружения бесконечный объем, в котором и проявляются эти черные быки с красными высунутыми языками. Это как если бы снег не таял, а, наоборот, возникал на глазах, увеличиваясь и затвердевая, образуя разные предметы.

Я не сразу понял, почему там быки и где они, но они ходили и приглядывались друг к другу и к арене, словно не замечая тех, кто их создал встречным взглядом. Но потом я понял, что простор, в котором быки ходят, он есть сладкая смерть. Да. И она одна и та же, что сладкая жизнь. Но только сладкая жизнь может появиться, пока быки ходят в сладкой смерти, а ты ходишь между ними. Мы всегда ходим между кем-то. Кто-то между людей в метро, кто-то между девушек, кто-то между чужих мыслей, прочитанных в чужих книгах, кто-то между родителями или друзьями.

Но любовь это когда ходишь между быками в сладкой смерти.

Если есть тот, кто решится пойти вместе с тобой, то тебе повезло, ты сразу становишься сильнее. Но ты становишься еще сильнее, если никто с тобой не пойдет между быками,

а тебя это все равно не остановит. И ты все равно пойдешь один за вас двоих в сладкую смерть, огибая черные бычьи морды, кованые, как старые чемоданы. Когда ты пошел между быками, то ты уже там, где ты умер. Потому что нет никого, кто вошел бы сюда и остался жив. И это все знают. Матадор, который хочет иметь дело с быками, как только выходит сюда, то уже умер и знает об этом. Но если ты умер как мужчина с быками, то ты и воскреснешь с быками как мужчина. Ваша кровь смешается и станет уже не кровью, а другим напитком. Не липким, жирным и соленым, а снегом. Сладким снегом детства, в котором смерть растворилась в маме, коте на печке и любимом лице.

Все это я сказал Авдотье, не видя ее лица, но, впустив всю ее в себя, словно бы мы и вправду с ней сблизились в любовной борьбе.

– Вот ты какой, дружок, – сказала она задумчиво после паузы. – Вот ты кто такой. Дай-ка, братец, я тебя обниму.

Голос у нее был хриплый, от нее пахло выпивкой, но она все равно светилась. И она обняла меня, ткнувшись носом мне в шею, и я вдохнул запах свежести и моря, идущий от ее волос.

– И куда это твой брат подевался? – отстранившись, сказала она, – ничего не понимаю.

12

В тот вечер Филипп так и не появился, а на следующий день мы встретились с ним у него в квартире. Когда я вошел, Филипп паковал чемодан. Увидев меня, он вздохнул, показал на стул и уселся в кресло.

– Вот и пришли к концу мои каникулы, – сказал он грустно. – На работу вызывают.

– Что-то срочное?

– Надо ехать, – сказал Филипп.

– Куда?

– В Сирию, кажется, неважно...

Вид у него был какой-то рассеянный. Он поглядел на меня, как будто увидел впервые, что-то вспомнил, встал, подошел и включил вентилятор. Лопасты слились в светлый круг, и поток воздуха растрепал мне волосы. Филипп направил вентилятор немного в сторону и сказал:

– Я был у той женщины.

Я не сразу понял.

– У Клавдии, – пояснил Филипп. – Клавии Петровны. Я к ней сегодня зашел попрощаться.

– Угу.

– Знаешь, она показала мне стихи. Это действительно шедевры. Это... это великолепные вещи. Их автор – поэт очень высокого уровня.

– Китаец? – спросил я. – Значит, до поломки он все же знал свое дело.

– Эти стихи совершенно живые, – сказал Филипп и зажег сигарету. – Они напоминают Шекспира, который заговорил бы на современном русском и думал бы как русский. И в них много юмора, вот что прекрасно. Кстати, там было одно стихотворение про красную куклу.

– Неужто? – обрадовался я. – Целое?

– Целое и законченное. Знаешь, оно оказалось по смыслу и композиции очень близко к тому, о чем ты тогда говорил.

– Значит, в Китайце сначала все же был ключ, был инструмент дешифровки, гармонии.

– Был, – сказал Филипп. – Но только этим ключом был человек. – Он разогнал рукой сизое облако дыма, и, попав в поток воздуха от вентилятора, дым стал разрываться сбоку и уноситься струйками к раскрытому окну.

– Что-то я не понял, – говорю. – О чем это ты?

– Китаец, скорее всего, так всегда и писал – выдавая бесвязные фрагменты. Однако последний его хозяин оказался способен превращать их в совершенные вещи. Но он не остановился на этом.

Филипп поморщился от дыма, аккуратно загасил окурок и добавил:

– Он посылал их той женщине, Клавдии, по несколько штук каждый месяц. И так месяц за месяцем и год за годом. Если подумать – одна морока.

Филипп наморщил лоб.

– Понимаешь, ведь она даже красивой не была. К тому же инвалид.

Было видно, что он мучается, словно у него что-то болит внутри, но я не мог понять, отчего.

– Кто она ему, а? Не проще ли было оставить все, как есть? – он посмотрел на меня чуть ли не с отчаянием, а потом внезапно улыбнулся.

– А мне понятно, – сказал я. – И тебе понятно. Чего тут непонятного?

– Эх, братец, – сказал Филипп, но заканчивать фразу не стал.

– Все тут понятно, – пробормотал я, но уже не так уверенно.

– Скажи, а ты запомнил хоть одно стихотворение? Можешь прочитать?

– Нет, не запомнил, – рассмеялся Филипп. – Удивился, что ты так угадал с красной куклой.

– Я не угадывал, – говорю я. – Я понял. Случайно вышло.

– Ладно, – он встал с места. Но тут же снова сел и растерянно взглянул на меня.

– Ей не нравится, что я не ем мяса и собираюсь изучать китайский, – сказал он.

Я не сразу понял, о ком шла речь. Но быстро сообразил.

– Мне показалось, что ее это раздражает.

– Что ты не ешь мяса?

– Да. Она говорит, что это странно.

– Что тут странного?

– Она говорит, что это выглядит как поза.

– Что за поза?

– Не знаю. Она говорит, что изучать китайский, чтобы прочитать стихи всего одного единственного человека, это неправильно.

– Почему?

– Она говорит, что это неправильная трата времени.

– Она просто не знает, с какой скоростью ты учишь языки.

Я до сих пор не понимаю, как это можно выучить немецкий за две недели.

– Нет, братец, не в этом, мне кажется, дело. Она, кажется, не может понять, что я вообще никуда не спешу. Что спешить некуда, особенно если ты нашел стихотворение, которое тебе нравится или женщину, которую любишь.

Он встал и начал закидывать в чемодан какие-то тетрадки и сверху положил томик Камюэнса. Потом застегнул чемодан и поставил его на пол, длинной ручкой вверх.

– Когда ты вернешься?

– Думаю, командировка продлится недели две.

– А что Авдотья?

– Я говорил с ней. Позвонил по телефону.

– Что она сказала?

Я волновался. Я даже немного заикался от всех этих новостей.

– Расстроилась. Сказала, что любит, что будет ждать. Потом заплакала.

– Вот видишь, – сказал я.

– Вижу, – брат усмехнулся. – И добавил: – Мне кажется, что она боится.

– Чего она боится?

– Неважно. Давай-ка, братец, прощаться. Кажется, такси пришло.

Я выглянул в окно, внизу под магнолией стояла желтая машина.

– Как-то все это неожиданно, – сказал я. – Дай я хоть чемодан снесу, что ли.

Я взял чемодан за ручку и покатил его к двери. Мне было не по себе, ноги у меня дрожали, но я старался не обращать на это внимания.

«В детстве вещи приходили и уходили. Приходила мама, потом приходило дерево, потом поездка с бабушкой за настольной лампой и дорога с кипарисами. В течение дня мог прийти сосновый лес за бассейном, жук-носорог, облако – прийти и так же легко уйти. Не надо было хотеть или звать их – они приходили чистыми, бесшумными и незванными и уходили также незаметно, как приходили. Они приходили из того дружественного ниоткуда, что и ты, и уходили туда же.

Впрочем, незванными ли? Какой-то зов все же был. Тот самый, который звучал во всех вещах и в тебе самом. Тихий, незаметный, словно с радужным мерцанием по самым краям. Тихий поток, который нес тебя, вспыхнувший солнечный зайчик за окном, зеленое загадочное дно фонтана у остановки, запах подснежника.

Потом это исчезло. Вещи остались, но потеряли простую торжественность возникновения. И когда они приходили – ты уже знал, откуда они приходят, а когда уходили – знал, куда идут. И это знание делало вид, что оно и есть смысл вещей, пыталось заменить сами вещи и вытеснило в конце концов незнание детства, вместе с его всамделишным и смешным миром.

Не следует ли снова войти туда? Мне кажется, все настоящие мастера знали вход в детство – Моцарт, Андрей Рублев,

Ли Бо, Колтрейн.

Зачем мы приходим сюда, в этот мир?

Один из ответов – воодушевить уток, чаек, дельфинов, жуков и муравьев.

Не воевать же, пробивая за счет своей и чьей-то еще жизни каналы для движения денег из одних рук в другие – впрочем, те же самые руки.

Может, мы приходим для того, чтобы запустить розового змея в небо или поваляться как следует на траве, глядя на облака.

Один чаньский наставник в ответ на вопрос ученика, в чем смысл просветленной жизни, сказал: встать рано утром, затопить печку, приготовить еду, сходить на рынок, поработать в саду. – И все? – спросил огорченный ученик. – Чем же тогда все это отличается от обычной жизни какого-нибудь невежественного ремесленника или крестьянина? – Ты будешь делать это, – добавил учитель – в единстве со всем миром, с каждой его песчинкой, с каждым криком кукушки, с каждым закатом и восходом, с любой звездой или червяком.

Мне кажется, что ответ учителя можно расценивать как отсыл к детству...»

Я сижу на кровати в номере и перечитываю записи брата. Мне понятен их смысл, и все же он все время словно ускользает от меня.

Днем мне позвонили из Москвы и сказали, что Филипп в больнице и что состояние его плохое. За те две недели, что

мы расстались, мы всего два раза говорили по телефону. Он рассказывал о том, как ошеломлен древней скульптурой и живописью (скорее всего речь шла о Пальмире, как я догадался потом), у него был веселый голос, и он шутил по поводу множества собак на улицах. Он говорил, что надеется, что скоро мы снова будем купаться в море и выберемся куда-нибудь в горы, лучше пешком, – добавил он. Он спросил меня о Клавдии Ивановне.

Я был у нее неделю назад, но никого не застал – квартира была пуста, часть вещей исчезла, и какая-то женщина с пластмассовой бутылкой в руках объяснила мне, что Клавдия с неделю как померла, отмучилась, как она выразилась, а паразиты чиновники будут на днях ломать их дома.

Но когда брат спросил меня о Клавдии, я почему-то соврал. Сказал, что ничего не знаю. Не понимаю, зачем я это сделал. Наверное, не хотелось, чтобы он расстраивался. Я ведь знал, как он ценил свои отношения с Клавдией Петровной.

После звонка я сразу же заказал билет в Москву. Никогда не мог подумать, что Филиппа могут ранить. Я думал, что переводчики находятся в каких-то специальных помещениях, куда пули не долетают. Смешно, но это правда. Не знаю, почему я так думал. Наверное, из-за того, что я очень необразованный и мало знаю о конкретных вещах, с которыми в жизни не сталкивался, – о войне, например.

Только бы он не умер.

Не знаю, что я сделаю, если он умрет.

Не знаю.

В комнате я сидеть не мог и вышел прогуляться. Шел дождь, шелестя в кроне платанов, а покрышки машин издавали какой-то шипящий звук. Я подставил лицо дождю и почувствовал, как намокает рубашка. От этого мне стало казаться, что я на палубе корабля, идущего в Китай вместе с Камоэнсом. Что нам в лицо летят брызги, а палубу раскачивают волны. И еще я подумал, что наверняка в каюте у Камоэнса есть кукла с красным лицом. Тут я споткнулся о бордюр и грохнулся прямо в лужу на проезжей части, прямо под колеса синего BMW, тот едва успел затормозить. Я ободрал локоть и разодрал рубашку, но от этого сразу почувствовал себя бодрее. Водитель помог мне подняться, вежливый оказался паренек. Предложил продезинфицировать рану, но я отказался. Мне внезапно стало весело. Я перебежал на ту сторону улицы и остановило такси.

До самолета оставалось еще пять или шесть часов, и я решил, что успею навестить Китайца. Эта мысль мне пришла в голову, когда на меня наезжал BMW. Именно когда его колеса шли по направлению к моей голове, я подумал, что хорошо бы его повидать. Не знаю, почему я так подумал. Потом мне казалось, что колеса не доехали до меня именно потому, что я нечаянно подумал о Китайце. Я тогда понял, что Китаец, взявшийся непонятно откуда, встал между мной и

машиной, и от этого она не дошла до меня несколько сантиметров, но тогда я особенно не останавливался на этой мысли. Все шло само собой, я был тут словно не при чем. В общем, я должен был его повидать.

Через час я вылез из машины, попросил водителя подождать и пошел к дому владельца самых северных чайных плантаций в мире. Здесь, наверху, тоже был дождь, зонта у меня не было, и пока я дошел до дома, на мне не осталось ни одной сухой нитки.

Двери дома были открыты, во дворе валялись пустые коробки и упаковочный материал. Рядом с сараем стоял Китайец. Видимо, он стоял тут не первый день – остатки лака, покрывавшие его лицо и руки совсем потускнели, дерево отсырело, и вид у него был неважный. Я подошел к нему поближе. На столике лежал промокший листок бумаги, который от сырости сразу же расплылся у меня под пальцами, но я не стал особенно расстраиваться, потому что он был пустой. Я подумал, что Китайца теперь вряд ли можно будет починить. Еще я подумал, что всего за одну неделю какой-то невидимый, но грозный язык взял и слизал Клавдию, трущобы за зеркальными стеклами, а теперь и бизнес «самого северного чая в мире».

Делать было нечего, надо было возвращаться. Но что-то мешало мне уйти. Я стоял под дождем рядом Китайцем, понимая, что идти, в общем-то, некуда. Вода текла у меня между лопаток, но мне здесь было хорошо, и, может быть, я вперед

вые почувствовал себя на своем месте. Сейчас, когда все тут было разорено и разбито, а Китаец сломан, мне почему-то стало легко и просто. Не знаю, сколько мы там с ним простояли, я, кажется, заплакал. Потом поцеловал его в мокрую макушку, чувствуя на губах сырую твердость мокрого дерева, и пошел вниз, к машине.

У выхода на посадку собралась толпа народа. Вылет задерживали на полчаса, и я пошел выпить кофе. Кофе был хороший, и я пил его маленькими глотками. Рубашка так и не высохла, я еще пару раз попадал под дождь, меня знобило, и я подумал, что надо бы пойти поискать в магазинчиках новую и переодеться, но потом решил плюнуть.

Авдотью я видел несколько дней назад. Я сидел и пил кофе в каком-то вечернем ресторанчике у моря, играла ритмичная музыка, и часть посетителей танцевала. Среди танцующих я разглядел очень красивую высокую девушку. Рядом с ней был мужчина, и, судя по всему, им было весело. Я хотел подойти, но потом раздумал. Мне стало казаться, что я неожиданно попал в чужую историю и теперь подглядываю за ее участниками. Я так и не понял, видела меня тогда Авдотья или нет.

И еще я думал, почему Филипп перед отъездом сказал, что Авдотья испугалась. Чего могла испугаться такая девушка, как она? Ведь я сам был в нее почти что влюблен. Непонятно, что он имел в виду.

Хотя, кажется, я догадываюсь. Мне самому бывало иногда рядом с ним не по себе, несмотря на все его обаяние. Я в такие минуты чувствовал, что Филиппа на его пути никому не остановить, что у него в крови таится что-то опасное, что-то непривычное для окружающих, то, что заставляло его идти до конца по видимому только ему следу, повинувшись внутреннему магниту, и никуда не сворачивать. В нем чувствовалась исчезающая порода. Он был из тех, кто тянется к далекому свету, который одному ему виден, так же, как хищник выслеживает свою жертву, но с той только разницей, что жертвой ради этого света становится он сам, и в этом таится его загадочная сила. Но тут следовала какая-то забавная фраза, глаза его сверкали и словно убеждали тебя, что ты здесь самый лучший, самый желанный и самый незаменимый.

Я сидел с кофе, поглядывая в сторону очереди на посадку. Пассажиры все почему-то стояли над своим багажом, хотя времени до выхода было еще много. А я сидел со своим кофе, и меня трясло все сильнее, и я ничего не мог с этим поделать. Странно, но мне постепенно стало даже приятно оттого, что меня так трясло. Я только опасался, что чашка вылетит у меня из рук и разобьется к черту, вот как меня колотило.

Я думал про того человека, который писал стихи вместо Китайца и отсылал их Клавдии, про то, что хорошо бы с ним как-нибудь познакомиться, но ведь у каждого своя судьба, сама по себе.

Я иногда восхищаюсь тем, что могло произойти, но не произошло, куда больше, чем тем, что произошло на самом деле. Как бы это сказать. В произошедшем есть своя фактура, свое действие, своя абсолютно чистая и незамутненная суть.

Если бы я смог, я бы создал такую игру, где учитывались бы не ходы, а отказ от них. Где партия засчитывалась бы и оценивалась не по количеству остроумных и просчитанных ходов, заставляющих противника признать свое поражение, а по количеству разрастающихся с каждым ходом несыгранных комбинаций. Я бы присуждал победу тому, у кого они были бы более многочисленными, более виртуозными, более ценными.

Иногда мне кажется, что наш мир сначала создавался именно так, как та неосуществленная пока что никем игра, и что звезды вселенной – это следы бесчисленного множества неосуществленных ходов, которые, когда их накопится достаточно много, начинают суммировать свои светонесущие энергии и постепенно воплощать их в Солнце, Венеру или Сириус. И даже в человека. Правда, потом что-то случилось в механике вселенной, и игра потеряла свой чистейший характер, свое происхождение из чистого ничто, его многочисленного целомудренного отсутствия в несыгранных ходах, дающего в результате накопления безгрешные и чуждые смерти формы. Что именно тогда произошло, остается для меня загадкой.

Однажды мне показалось, что я услышал ответ. Я тогда сидел на берегу озера, затерянного в Валдайских лесах, и в руке у меня был бинокль. Я бесцельно шарил им вдоль озерной излучины в надежде увидеть ондатру, бобра или утку. И когда я случайно поднял его выше, в поле моего зрения попала летящая чайка. Она летела в луче света на фоне темно-зеленого, почти черного хвойного леса. Она парила на смазанном движением бинокля фоне и была похожа на подсвеченный изнутри белый фарфор. Лес словно не успевал за ней, такая она была быстрая и легкая, и я напрягся, чутко следя за полетом, чтобы не потерять ее из виду, чтобы она не выскочила из кружка, в котором я ее так хорошо различал.

И тогда я услышал ответ. Но это был ответ неожиданный. Словно бы чайка, лес и я сам были его буквами, такими, из которых сначала и был создан мир, пока он был миром, рождающимся из несыгранных партий, словно мы сами и были ответом тому неведомому, что так томит нас и восхищает и без которого жизнь не имела бы никакого смысла.

Пассажиры все так же стояли над своим багажом в очереди, когда прозвучало приглашение к посадке. Я допил последний глоток остывшего кофе, поставил чашку на блюдце и пошел к выходу с горящей над ним надписью «GATE № 9».

Летчик

Поэма

Джону Колтрейну, поддержавшему меня в эпоху отчаяния,

*Лене Эберле, мастеру пространств и полетов,
а также сочинской шантрапе 60-х гг. прошлого,
разумеется, века.*

*Если вы захотите отследить первопричину
любого явления, вам придется вернуться к самому
началу творения.*

Э. Т.

1

Самолет садился на поле за речкой, и все думали, что он не машет крыльями, а я видела, как машет, и видела, как в нем сидит авиатор, словно яйцо внутри птицы с бьющимся сердцем, только в этот раз он сам и был этим сердцем. Птица машет крыльями, как и человек, от боли и от радости, и если радость часто снаружи, то у боли вид как у венка, надетого на голову, и еще она делает человека безруким.

Летают только безрукие, я это видела в своем сне. Как только ты понял, что безрук, у тебя из сердца бежит теплый

ручеек, и ты знаешь, что уже никого не обнимешь, кроме единственного неба и единственной девушки, которую если только обнимешь, то сразу умрешь и будешь жить в ней как яйцо. А она будет целовать тебя васильками губ и навсегда видеть тебя самым красивым.

Когда пропадают руки, то грудь заостряется, и тебе приходится открывать дверь лбом или подбородком, и от этого в тебе растет полет. Полет это новый человек, не похожий ни на тебя, ни на птицу, он ни на что из виденного не похож, может быть, немного на рыбу с человеческими глазами, и еще на то, как кто-то танцует, а потом, валяясь на земле в хлопьях собственной кровавой слюны, быстро-быстро сучит ногами, и тогда рыба делается снами, фигурами и буквами, и одна из этих фигур – это слова полета, а вторая тот, кто узнал эти слова полета.

Самолет заходил от моря, он был как этажерка и махал крыльями. На хвосте у него висел красный шар солнца, а на крыльях покоилось синее потемневшее море. Никто не видел голову летчика в очках, а я видела ее как золотое наклонное яйцо, и оно то приближалось и смотрело мне на живот, то удалялось и сливалось с красным шаром на хвосте аппарата.

А я стояла на мосту через речку, который дрожал под моими ногами, и я стояла среди подземного и среди подводного воздуха. В подземном воздухе тоже есть самолеты, но мало кто их видел, хотя всякий летал в глубоком сне. А в подвод-

ном воздухе живет полет с человеческими глазами.

У меня зонтик от солнца над головой, на мне новое платье, я иду в гости на виллу «Вера», выстроенную среди сосновой рощи на склоне горы три года назад, в 1912 году. Сегодня там бал и играет оркестр из Петрограда. Меня зовут Ефросинья, и здесь всегда пахнет хвоей, ах ваши синие глаза, зеленые от солнца и хвои, сказал мне тут кто-то.

2

Если ты видишь грека на улице, то это не Лаокоон, три сердца которого стиснуты одной змееобразной линией – одно его и два – его сыновей, и каждое бьется в своем ритме: и сколько же тут планет поработало, сколько трав, сколько ударов мужских чресл в женские, чтобы возникли они на свет и теперь объединились силовой линией рока! У змей много рук, которые прячутся в изгибы, и они ими хватают города, и растения, и звезды, а потом все это приносят человеку, чтобы начать его душисть.

Я видела эту скульптурную группу в Ватиканском музее, который мы осматривали всей семьей два года назад.

Греки в здешних местах маленькие и оборванные, и когда едешь на линейке в сторону Хосты, встречаешь их десятками в пестрых старых одеждах, они грязные, вокруг них летают летучие мыши, такие же темные и перепончатые, а греки продают виноградное вино из высоких стаканов.

Сергей Николаевич Худеков, хозяин дачи «Надежда», основатель здешнего великолепного сада и мой родственник, говорил про летучих мышей, что они летают, взявшись за руки. У них ведь еще что-то осталось от рук, и поэтому они могут летать только ночью, хватаясь за темноту и женские прически, выдирая их из визга, из шляп и из тела целыми локонами, чтобы женщина вспоминала про себя все то, что

ей удалось про себя забыть и что родители спрятали в шкаф с другими живыми скелетами, которые иногда ходят в наших потемках и говорят юмка, не знаю, где я про это слышала.

У тех, кто вспоминает, а такие среди подвергшихся нападению летучих мышей действительно есть, глаза становятся синими как море, но не обычное, а такое, что их мужьям хочется его выпить, а сама жена или дочь ходит всю ночь по стеклянной комнате, и ее волосы, ставшие тяжелыми и плывущими над ней, как в воде, постепенно поднимают ее ввысь и даже, если она захочет, могут поднять к Луне, но мало у кого хватает на это храбрости. А те, кто пытались и поднялись к бледному спутнику земли, теперь проходят сквозь стены и говорят странные слова, а мужчины рядом с ними чувствуют, как бьется лодка о причал, даже если она находится в нескольких километрах от них, где-то у маяка или, например, в Лоо. Она может быть пустой или полной, эта лодка. Она может быть залита лунным светом или стоять в тени. Но в ней всегда кто-то есть, кто не думает и смотрит в море с его темнотой и серебряной неуследимой игрой зыби в дробящейся и яркой лунной дорожке.

Часа два мы веселимся и танцуем под музыку оркестра, приехавшего сюда, на виллу «Вера» из Петрограда. Народу много, работает благотворительный буфет с виноградом, шампанским и шоколадом, доход от которого будет потрачен на зимнее обмундирование солдатам, хотя пока что еще лето. Странно знать, что где-то сейчас воюют.

– А вот и наш герой, – говорит Сергей Николаевич, – просим-просим.

Я смотрю на молодого человека в светлом костюме и вижу, как машет крыльями, заходя на посадку с моря, самолет, а в нем наклонилось лицо в летных очках. Теперь оно внезапно приблизилось из небесного далека, и принадлежит не безымянному пилоту, а гостю виллы «Веры», юноше с короткими усиками, высоким лбом и серыми глазами.

– Николай Федорович, авиатор, – представляет молодого человека Сергей Николаевич.

3

Пока на экране специально затемненной комнаты идут волшебные картины с фотографиями греческих развалин и редких растений, например, «лакового дерева смерти», которые показывает при помощи волшебного фонаря почетный гость сегодняшнего бала Сергей Николаевич, человек искусства и пропагандист стиля модерн, Ефросинья косится на Николая Федоровича, присевшего на стул рядом с ней, на его белый пиджак.

– ...Аэронавт, впрочем, будет точней, – говорит Николай Федорович, – да, точней.

Но, разве... – говорит Ефросинья. – Разве так называют не тех, кто летает на цеппелинах?

– Да-да, конечно. Обычно аэронавтами называют тех, кто летает на аппаратах легче воздуха, но это не всегда правильно.

– А как правильно? – говорит Ефросинья, думая, что белое это цвет ангелов и призраков и что Марию Стюарт хоронили в белом траурном платье, кем же, каким существом вышел из этого белого сюда Николай Федорович, и кто он – Мария Стюарт, ангел или призрак? Еще есть Белый, поэт, она была на его выступлении в Москве, он летал и танцевал почти что по воздуху, – может, Николай Федорович тоже поэт и танцует по воздуху при помощи стихов? Если вы в бе-

лом пиджаке и умеете летать... и все же, кто вы, Николай Федорович?

А еще – думает Ефросинья – при помощи стихов в воздухе танцует сирень – лиловая, тяжелая, как голубь в руке, мокрая и вся в лицах, которые перебегают от одного соцветия к другому, от тяжелых лиловых подков с одной ветви – к пятнам и глазам на другой ветви, и, пока их шевелит ветер, стряхивая капли, каждая сверкнет как алмаз, слетая к земле.

– А как же? – говорит Ефросинья, – как же сказать правильно? Чем аэронавт отличается от авиатора?

– Авиатор – это как шофер, – говорит Николай Федорович, – а аэронавт – как птица, хоть в авиаторе и живет птичий корень – avis. Но летает на самом деле «внутренняя птица», а не внешняя с мотором и бензином. А в аэронавтике она осталась.

– Это потому что Андрей Белый – аэронавт, и еще сирень – аэронавт, – говорит Ефросинья.

– У шофера ведь есть маршрут, цель и мотор.

– А у вас разве нет?

– Это второстепенное, – птица летает не по закону, а по истине. Маршрут, цель и сила полета – для нее одно и то же.

– Вы так думаете? – она задумывается, тихо смеясь и ощущая холодок на спине, будто туда плеснули нарзана, – да! да! я тоже это знаю. Птицы летают нипочему, как сирень.

– Да, – говорит он. – Нипочему. И аэронавт, и авиатор тоже должны летать как птицы, прежде всего по истине, а не по

науке, не по законам аэродинамики. Настоящий пилот – тот, чей самолет поднимает и держит в воздухе не один лишь технический расчет, а интуиция, которую он чувствует в сердце. Так примерно летают в сновидениях и так же точно – утки, майские жуки и чайки. Отто Лилиенталь сначала именно так летал. Если бы он летал и дальше так, то не разбился бы и построил еще много прекрасных летательных аппаратов. Но со временем он, увы, стал все больше полагаться на конструкцию и все меньше на собственную интуицию. Это была ошибка. Впрочем, иногда конструкция и интуиция сочетаются. Знаете, у него дома жили ручные аисты. Для того, чтобы перенимать у них полет.

– Разве полет можно перенять? – спрашивает она.

– Даже грипп можно перенять, – говорит он, улыбаясь. – Даже вес. Даже отсутствие веса. – Тут его глаза снова делаются серьезными. – Отсутствие веса. Как, например, у вас.

Он смотрит на нее внимательно, словно о чем-то спрашивая. В этом неверном свете может даже показаться, что он как будто бы умоляет ее расслышать что-то для него неизмеримо важное и нужное – так чудно легли на его лицо тени, – расслышать и понять. Внезапно он улыбается, легко и беспечно.

– А еще человека-птицу нельзя убить, – говорит он.

– Это почему же?

Он достает из кармана портсигар, не глядя выбирает тонкую папиросу, щелкает крышкой. Потом смотрит на Ефиро-

синью серыми глазами, в которых она видит небо и себя в небе, и уверенно говорит: это противоречило бы законам жизни.

На экране с помощью волшебного фонаря показывают бога Аполлона и англичан, пакующих ящики с ворованными греческими скульптурами, – белый, как скорлупа, экран с такой же белой статуей, похожей на прореху в изображении, но Ефросинья туда не смотрит.

Она выходит в зал.

В зале и в саду играет музыка и всю работу делают буфеты с шампанским и лимонадом.

Лица танцующих она видит словно бы впервые.

И все остальное – цветы на столе, влажный блеск платья соседки, золотую искру на хрустале фужера, свои белые руки – Ефросинья тоже видит словно бы впервые. Николай Федорович идет за ней следом.

– Если бы я, – тихо говорит молодой человек, – то есть если бы я... вдруг решился и осмелился... мне сейчас сказали, что тут, на Ривьере, сегодня танцы... то есть настоящий аргентинский оркестр... одним словом, под открытым небом... на берегу моря. Если бы я... внезапно осмелился... если бы вы и я... если бы мы... —

– Едем, – неожиданно для себя говорит она, – едем!

4

Вилла «Вера» такой трехэтажный дом с верандой и башенкой (сами можете проверить), к которому приближаясь, попадаешь в дождь и в запах сосновой хвои, а удаляясь, чувствуешь дом спиной зажженным до третьего этажа электрическими огнями и спиной же слышишь, как там поют ангельские голоса детей, и чем дальше уходишь в сторону моря и маяка, тем эти голоса становятся тише. Но эта тишина не такая, как нарастание, а потом затухание музыки, когда минуешь, например, консерваторию. Там голоса слабеют и уходят, а когда отдаляешься от виллы «Веры», то хор становится тише, но при этом он становится громче, как будто он поменял объем акустики и теперь звучит в вашем собственном зале, который делается все меньше по мере отдаления от виллы, а голоса в нем все тише, а поэтому все яснее и громче, и там, где они должны бы совсем затухнуть и слиться с тишиной, они, напротив, начинают звучать так, как никогда не звучал ни один голос. Они поют так, как будто бы вилла «Вера» это родник, из которого течет ручей, и когда вы идете к морю, где маяк, то серебряным своим концом ручей упирается вам в затылок, и вы, удаляясь, раскручиваете его как какой-то рулон фольги, а не воду и не пение. Потому что это именно вы расчищаете каждым шагом ему русло при помощи своей головы с щекотным затылком, куда он все время

тычется, и от этого на затылке растет костер, и в голове все становится странно и зыбко, как будто вам сильно досталось на футболе, и теперь у вас даже в глазах двоится, а ноги идут сами по себе, как будто чувствуют свой собственный путь.

И там за мостом парк и огромный отель в электрическом свете, а на берегу моря площадка с террасою и павильонами, где лимонад и шампанское, запах цветов. Море наваливается на грудь как медведь, черное, бархатное, с тихим далеким огоньком у горизонта, и пока спускаешься к танцам, вокруг вразнобой пульсируют зелеными огоньками летящие светлячки. В этом есть невозможность, чтоб такая огромная люстра держалась невесть на чем в черной воздушной прорве, при этом тихо мерцая и медленно крутясь вокруг своей невидимой оси.

Светляк – это азбука Морзе. Вот летит он, мигая, и передает сообщение. Мигнул и исчез, как растворился в чернилах, и вновь мигнул – от небытия к небытию, или лучше сказать от вспышки света к такой же, что он носит не над затылком, как редкие светлые люди, а в брюшке.

Аргентинское танго это разрез книзу платья и непристойный шаг. Он, танцуя, немного ее выше, сухое лицо, а она смотрит снизу. Смотрит снизу Гертруда на сына вместо Офелии, запудренным лицом, не глаза читая, а мысли, а облака его чувств, в которые белый лик ее хочет, ужасаясь и скорбя, попасть как в грозу, где бьют молнии, летит самолет, пахнет бензином и кожей от перчаток, а руки сжали штурвал.

Мать это место, где все замыкается, вот почему все

остальные женщины всегда замыкаются и размыкаются в мать. Это если перекрутить на пол-оборота полосу бумаги вокруг оси и замкнуть концы, то идешь к возлюбленной, а оказываешься у матери. Идешь дальше, а она уж не мать, а возлюбленная, и ты уж не ты, а младенчик, вопящий на ковер с узорами, что висит над кроватью, а Млечный путь течет за окном, и тебе только и надо, что этого млека и чаши, из которой оно пролилось. Вот ты делаешь широкий шаг – к ней и почти сквозь нее, как не принято в обществе, а она – широкий шаг для тебя, от тебя, и ты держишь ее в объятьях, а она смотрит на тебя снизу, запрокинув лицо, размыкаясь широким шагом в разрезе платья до талии и снова смыкаясь.

И хоть на дворе военное время, а Мери Пикфорд и Мистенгет все поменяли в фасонах и модах, но танго взрывалось настоящим бунтом неслыханных жестов, непорочным и ясным бесстыдством у всех на глазах. Велеречивая птичья бумага начала века рванулась и прорвалась, и попытки множества алых губ склеить разрыв были тщетны, он больше не склеивался, за исключением цельного вязаного узора чулок, и дыра с расходящимися чернильными буквами, которую образует будущее в настоящем, зияла все шире. Когда губ и слюны слишком много – ничего уж не склеить, можно только расширить отверстие, где танцует сейчас человек без имени и его мать-возлюбленная, в красном, сверкая ногой, а Млечный путь льется ей на лицо.

И бьет фонтан, сверкая богинями, голыми фавнами и

Дионисом, извергающим вкривь изо рта разноцветную воду, кружатся вокруг под звуки оркестра гибкие, юные пары в панбархате, шелке и ситцах, мелькая бледными лицами с неправдоподобно расширенными глазами, продолжая короткий и страшный сезон 1915 года.

У моря внизу, как пышный край занавески, шипит и белеет кайма прибоя, они промочили ноги, черпая воду в ладони, наступая и убегая от волн, как только что в танго. На языке вода свежа, солонa, по вкусу похожа на кровь и на пот, но никто ведь не знает, из чего сделана кровь, из чего рождается слово в зыбкой глуби между красных губ, что кому суждено из здешних юных, влюбленных, взлетевших, ушедших в далекие дали, оставив на берегу —

– не только кровь от порезанной ракушкой ноги, но и – куклу-куколку, похожую на пропавшую на ваших глазах девушку с русыми волосами, в красном платье, исчезнувшую вовсе на миг, да так быстро, что не заметить... оставив взамен – непонятную куклу. Но не навсегда пропала она, как и любой летящий тут же светляк, – а чтоб выпорхнуть вновь из куклы-куколки – девушкой с русыми же волосами, в красном же платье, с пораненной ракушкой ногой, все, кажется, той же, но только вот имя, имя теперь у нее – другое.

Словно темная промокашка, пропитано имя ее теперь тяжелой струйкой подземной реки, кровью диких высот, жутью дыханий и шепотов.

Гулкое, страшное имя! Вязкое, двухконечное, словно бы смерть!

Чтоб такое произошло, должны вы быть по правде непорочно-бесстыдной, безумной и ясной, такой почти что, как грозовой этот воздух – влажный, пробитый озоном и йодом, полетом мотылька да запахом мокрых заборов и крыш, да черных персидских цветков – роз, солдат неубитых.

Из лунного веса, из черного крика зарезанного петуха сделан воздух теперь – нигде не найти больше такого воздуха, как только лишь здесь, на примолкшем побережье, среди остановившихся чудных огней, с береговыми сетями, безмерным и бережным гулом, водяными крысами и бледным утренним рыбаком утопленником.

Главное тут – выдержать, скопить в груди эту душную, грозовую, с электрической искрой, ветром и кузнечиками, ставнями и газонами, кустами и белой магнолией – силу коленчатого разрыва, русла для рукопашной стремительной вспышки, не дать мощи смерти иссякнуть напрасно, бесследно пропасть. Но выстоять, накопить ее в хрупком и замершем теле, словно бы вовсе нездешнем.

Непорочным лишь девам дается.

Вращается ветер, налетает порывом, дребезжит на даче стекло наверху и кажется, вот уже хлынет, проломится, грянет, кажется, вот уж пора и невмочь, вот уж не выдержать боле, не найти под ногой знакомой тропинки, руке не ощупать привычно перил, и душно как-то и тяжело, и томно, и

вот – разрыв тут и вспышка, как шелк разодрали со свистом, в котором...

– ...мир мгновенный, неузнаваемый, с обретенной белой тропинкой, бросится слепо к глазам, высветит клен вдали на горе, губы светом ожжет, сотрясет все вокруг миллионвольтным ударом. И птицы шарахнутся в гнездах, захолонут реки в руслах и обомлеет сердце в белой девичьей груди. Бьет свет львиноголовый, когтистый, крученный, бьет прямо в сердце тебе и там... там остается. И ежели сдюжишь и вынесешь – быть твоей жизни другой.

Читали Тургенева, слушали гимназических педагогов, бормотали Пушкина, любили Кропоткина, зубрили латынь и спряжения, писали в альбомах, влюблялись, награждаемы были медалями... – и все для того лишь, чтоб ночью однажды впустить в свое сердце всю мощь грозового удара, и там удержать. Ибо мощь измерима, а сердце безмерно.

...

– Угу, – говорит Ефросинья. Вот она и вздохнула, вот снова ударил пульс и пошел колотить время жизни, вот заново все началось, а что началось? Да все началось. – А ваш летательный аппарат... Я хотела просить вас, Николай Федорович, просить показать, но не знаю, удобно ли это...

– Аппарат? Ну, конечно! Конечно же! Едем прямо сейчас! – горячо говорит Николай Федорович. – Конечно же, едем! Тут близко!

Внутри каждого нетопыря есть черный конь, которого никто не придумал, и, пока нетопырь летит по своим зигзагам, черный конь замер на одном месте, а внутри сидят солдаты с противогазами, и вокруг них смрад и лужи, потому что они там уже третий день, пока их не внесут во вражеский город, и тогда они смогут на свободе облегчаться, убивать и насиловать. А пока они могут лишь следить за зигзагами черного складчатого существа, которое режет серую ночь на клочки черного бархата в оврагах и ущельях, и завидовать его мощи и скорости: той – они знают – что ведет их к победе.

Они ехали на извозчике по выложенной булыжником улице с редкими фонарями, и небо смотрело на них огромной опрокинувшейся сковородой, особенно темной и мерцающей вдали от фонарей, на берегу речки, которая тихо журчала в заливающимся лягушачьем хоре. Нетопыри месили небо, пропадая в его тесте, но все равно было видно, что звезды это задумавшееся лицо.

– Aeronaute? – говорит Ефросинья, – pilote?

– По-французски тоже мало смысла, – говорит он в ответ, – меньше даже, чем по-английски.

– А что по-английски?

– Flier, aerman, skyman, ну, и авиатор, конечно.

– Skyman, – говорит она, подумав. – Красиво, но только

немного театрально.

– Я летел через Туапсе, ночью, ориентируясь по линии прибора, чтобы не сбиться. Повидаться с мамой. Она живет здесь, за Верещагинским ручьем, сразу за пансионатом госпожи Фронштейн «Светлана». Мне через два дня на фронт.

– Как на фронт?

– Да вот так, – смеется Николай Федорович, – на войне нужны летчики.

Он говорит, небо надо согреть, все понимают, кроме людей, олень согревает его своим полукостром-полудеревом на голове, подсолнухи – распускаясь, а светляки – мигая, и даже этот нетопырь с ромбом внутри тоже его согревает, и люди могут. – А чем люди, говорит она, могут? – Великодушием, которое на языке человека и есть его человеческое тело, а слова и одежда это буквы, которыми тело человека говорит, но само оно – слово, согревающее небо, и если небо согреть, то войн больше не будет, люди перестанут убивать друг друга и животных, читали графа Толстого?

– Васильки, говорит она, – согревают небо, и, может, каждый василек это один неубитый солдат. Так почему же человек не сделается лучше?.. Почему?

– Знаете, на что вы похожи? – говорит он. – Вы... вы – это как летишь в тумане вслепую, потеряв ориентиры, весь в напряжении, и только и ждешь, что удара о землю или о столб. И тут, как окно распахнуть, бах! – вылетаешь из мглы и открывается враз все ночное звездное небо, и сразу узнаешь

созвездия, и раньше даже, чем их самих – их имена, потому что они как будто уже вошли в позвоночник, расставили заново тело, весь самолет, стали главной деталью его – небом. Ты мог разбиться, но не случилось, потому что созвездия ждали, переговаривались, закручивали водовороты света, и глаз теперь смотрит на них, а они на него, читая друг друга. Я думаю иногда, что позвоночники динозавров и птеродактилей – это те формы, в которых по ряду причин задержались звезды, потому что они до сих пор и не рассыпались, до сих пор их находят. Ведь есть формы, где они могут задержаться, прошептывая имена, и есть формы, где они задержаться не могут.

Он продолжал:

– Вы – это как идешь в незнакомом городе, никого там не зная, ни улиц, ни жителей, ни языка, и вдруг в разноликой чужой толпе встречаешь отца. И понимаешь, что это отец, еще даже не разглядев, потому что... узнаешь раньше, чем видишь. Я больше скажу, – голос его здесь дрогнул, – узнавание – может, саму реальность и создает, и творит. Откуда я знаю, были вы мире, пока я вас не узнал, или нет? Потому что никто вас так, как я, не сумеет узнать, не сможет! А значит, вас до меня не было... вовсе. Какая-то тень, вот и все.

– Я вовсе не тень, – смеется она. – Это даже как-то обидно. Вот потрогайте. Вот!

– Нет, не тень, – говорит он, касаясь плеча. – Нет, не тень.

Извозчик въезжает на мост, на котором экипаж сильно

кренится – на миг видны серебряные перекаты мелкой реки, темные камни, выступившие из приглушенного блеска; съехали – дальше дорога, слабо светясь, вьется меж молодыми платанами с латунной листвой в лунном свете; вот повернула, открыв панораму далеких гор, цепь белых вершин под луной, словно парящих на темно-синем воздухе, еще поворот – перед ними плоское поле, с краю бегут в сторону моря редкие огоньки, стой, извозчик!

– Приехали, – говорит Николай Федорович. – Вон он, стоит.

– Кто стоит? – спрашивает она.

– Мой аэроплан. Вон же, под фонарем.

Самолет это спутанные волосы и родники. В нем больше волос, неба и родников, чем всего остального. Волосы и родники есть у каждого человека, но люди их теряют, потому что им их трудно удерживать. Самолет возникает, когда пилот направляет свое внимание между блуждающих родников и волос – там между ними есть ложбина, которую пилот приближает к сердцу и ребрам и потом переваливается через сердце и ребра, словно через борт лодки, и падает в эту ложбину, а потом в воздушный океан, и тут начинается его полет. Настоящий полет это когда ты состоишь из мыла, а воздух из воды, как все океаны. И когда ты ведешь свой аэроплан, тело начинает смыливаться, начиная с губ и пальцев. Потом смыливаются ноги и живот, и лоб. И тогда понимаешь про то, как одна субстанция может перейти в другую, при этом по видимости все будет оставаться как есть. Но ты, ставший ничем и воздушным океаном, теперь летишь водой в воде, и для этого даже можно больше ничего не делать, а только быть кровью в крови, воздухом в воздухе и родником в роднике.

Первые летчицы не пользовались рулями управления, им было достаточно расчесывать волосы, когда они летели, ощущая их как настоящие. Мало кто ощущает волосы и родники как настоящие, все думают, что это так себе, картинки, а ес-

ли летчица расчесывает волосы, то самолет начинает делать такие вещи, которые никто делать не умеет.

Жанна Батэн, учительница музыки из Новой Зеландии, которую называли Гретой Гарбо небес, впервые пролетела из Англии в Австралию, расчесывая волосы и кивая на восход солнца светлой головой.

Рут Элдер летела между родников самолета, а он следовал за ней до тех пор, пока она не оказалась вместе с ним в Голливуде, снимаясь как воздушная гимнастка. Она стояла на крыле над бездной и не падала, потому что падать было некуда – ведь она уже была между небом и небом. Пропасьть не падает в пропасть, а волосы в волосы.

Амели Эрхард из Англии засыпала от усталости в самолете из волос и родников над Атлантикой, но не разбилась и стала первой женщиной в истории авиации, пересекшей атлантический океан по воздуху. Она также первой отправилась в кругосветный полет, прервавшийся не из-за волос и родников, а из-за пьяницы-штурмана.

Самолеты не предают, предают люди. Но они этого не хотят.

8

Аппарат стоял, освещенный прожектором и отбрасывал длинную тень на поле. Колеса со спицами блестели от сильного электрического света. Ефросинья подошла к аппарату и потрогала его за крыло. Он стоял в тросах и переборках, поблескивая и мерцая, и его тихий фюзеляж был похож на воздушный рулон, в который завернуто небо. Оно было гулкое и легкое, но, свернутое, оно было здесь сразу всё, во всей своей ширине и высоте, и в нем были все дали и ориентировки, дожди и аэродромы, и звезды, и ночные дороги внизу под крылом, по которым сверяется курс, – было все, все из чего состоит твое небо – небо без времени и небо из будущего, если оно тебя ждет, а оно тебя ждет. Будущее это как дверная ручка или как человек, про которых думают, что знают, а кто их узнал? кто их обнял, кто их согрел? Кто понял, что в них вложено, кто увидел в них свое же лицо, но ушедшим от времени, когда стало оно однажды от узнавания – словно бы высь неба, словно бы край земли, словно бы пульс рыбы?

Она обошла самолет кругом. Дерево плоскостей и спицы колес были влажными от росы и отсвечивали как серебряная обертка. Над головами плыла луна, зацепившись за низкое облачко, и казалось, что поле тоже плывет вместе с самолетом, и Ефросиньей, и прожектором, и часовым с длинным ружьем.

– Ах! – сказала Ефросинья. – Как он похож на дерево!

Дерево с заводными птицами на ветках.

– Хотите полетать? Завтра, с утра?

– Да, – сказала она. – Еще бы!

Пока цеппелины не бомбили Германию, дирижабль был собой. Он приближался к тому, к чему хотят приблизиться люди, но не могут. Он приближался к той форме, попав в которую меняешь все, включая себя и небо, бывшее раньше просто голубым, черным, в птицах и вихрях, а теперь заметно, что оно и в других существах, от которых расходятся круглые и овальные вибрации, полные золота. Но золото это не то, которое взвешивают на весах, а то, которое кормит младенцев рыси, лошади и человека. Оно еще заходит как ложка в рот, когда человек лежит на лесах и пишет по сырой штукатурке руку Бога и как она приближается и никак не приблизится к руке Адама. Дирижабль находится в том пространстве, где рука Бога тянется к руке Адама, но еще не дотянулась, и пространство дирижабля делает так, чтобы эти руки никогда не соединялись снаружи, но перетекали бы друг в друга внутри – как реки, и этим внутренним пространством дирижабль поднимается в воздух и дышит обеими своими половинами – доброй и злой. Но когда половины соединяются в дирижабле, то идут в его центр и там становятся одним, в котором они могут как люди поплакать и спеть свою песню, и песня не будет напрасной, а слезы лишними.

Дирижабль приближался к своей форме, которую искал

Фауст и почти нашел граф Цеппелин, а также ее искали те, кто был уверен, что Грааль это чаша, попавшая на Тайную Вечерю и сделанная по форме груди Елены прекрасной. Но в том поиске главное было все же – внутреннее пространство, уходящее в человеке в его никуда, словно бы внутрь его грудной ракушки, и возвращающееся с другой невидимой стороны, обратной всему видимому, и от этого-то и скакали кони, бились сердца и звучала странная мелодия, которую пели дамы вослед песням Персифаля, короля Артура и Александра Блока.

10

Первые дирижабли, безрукие, как все лучшее, что летает, ощупывали воздух внутри себя другими руками: – зашедшими внутрь руками Бога и Адама, которые теперь уже почти никогда не видны, но именно они держали тех, кто летел на аппарате, да и сам аппарат тоже.

И мы с тобой поднялись в воздух внутри, и ты сияла как большая рыба в подводном солнце, когда мы кружили в сферическом центре, охваченные бережными прикосновениями невидимых перстов, и ты смеялась, а мы с каждым вдохом становились моложе, пока не стали, изменившись, двумя детьми зеленой горы, пронизанными языками пламени и солнца.

И когда твои волосы перетекли в меня, как реки со всем живым и мертвым, что было на их берегах когда-то: с окопами, полными убитых и раненных солдат, с расщепленными березами, выброшенными субмаринами, разбитыми артиллерийскими орудиями и горящими танками; с единорогами, бродящими между них, вынюхивая тех, кому еще можно помочь, с ласточками, енотами и оленями, согревающими небо, – тогда я переломился как водопад в горе и, теряя опору, стал падать в тебя, а ты в меня – пропасть в пропасть, рыба в рыбу и чаша в чашу. Океан под аппаратом прогнулся и заговорил детским голосом, а Панагия Горгона дунула

в свой парусный корабль, и он, загудев, сошел с иконы, как со стапеля, и поплыл рядом с нами.

Головастики в лужах пели песни, и ангелы невидимых небес в стальных распорках вторили им, и это было то же самое, как мама вытирает руки о фартук, а потом прижимает твою голову к себе и целует в затылок.

И все наши стада – губы, ноги, волосы, сердце, легкие, бедра, румянец на щеках, шакал на горе – разбрелись в этом объеме, чтобы узнать о себе новое, и потом вновь вернулись домой, чтоб не умирать никогда.

Габриэла, говорил я, я умру в смерть, и елка войдет в елку, и дева в деву, как фонарь в ночи входит в фонарь в ночи, и когда так случится, мы сдвинемся в *сдвиг*. В то, о чем знает каждый, – *сдвиг*, когда звезды сыплются как теплая мука на передник, и все собаки и люди воскреснут, и свеча зажжется, и моря отдадут своих мертвецов, и не растает снег на детской ладони, и смерти больше не будет, и плача тоже.

Но они начали бомбить города, бросая тонны взрывчатки из черного неба на городские кварталы, и люди пошли в стороны как живые костры, и животные ушли на острова.

– А вы были на фронте? – спрашивает она.

Они сидят в комнате на втором этаже домика авторемонтной мастерской, в окно светит далекий фонарь, а смутные горы с белыми вершинами отсюда видны даже лучше, словно придвинулись, но когда зажигается свет, то все пропадает.

– А вот и чай, еще горячий, – говорит Николай Федорович и берет из рук сонного солдата поднос с чашками и печеньем. – Нет, – говорит он, ставя поднос на стол, – на фронте я не был, только в летной школе.

– Говорят, там страшно, на фронте, – она берет чашку и отпивает глоток. Чай приятно согревает ее – южные ночи холодные. – Несем большие потери.

– Эта война обернется трагедией, – говорит он. – Орудия убийства стали совершеннее – танки, скорострельное оружие, отравляющие газы, бронепоезда, крупнокалиберные орудия, аэропланы, подводные лодки... Что может противопоставить этому хрупкая человеческая грудь?

– Но ведь техника не сама же стреляет, – говорит она, – все это можно и нужно было предотвратить.

– Да, – говорит он, – конечно, конечно...

– Вас ведь там могут убить, – говорит Ефросинья.

Он снисходительно улыбается.

– В самолет трудно попасть, летит слишком быстро и на

большой высоте. Самые значительные потери среди пехоты. А господин Худеков, кем вам доводится?

– Я ему внучатая племянница, – говорит Ефросинья, – с ним весело, он все знает о театрах, актерах и балеринах. Он пишет книги и пьесы. Они идут в Петрограде. У него есть газета. И еще он купил здесь землю по совету царя и собрал в свой сад деревья со всего мира, вы были в дендрарии?

– Обязательно схожу, – говорит Николай Федорович. – Вы знаете, – говорит он, зажигая папиросу, – ...позволите? – курите-курите! – я недавно прочитал одну статью господина Соловьева, философа, и она меня чрезвычайно заинтересовала.

– Какую же именно? Я люблю его книги и лекции, только они трудные, иногда не сразу доберешься до главного.

– Статья называется «О любви». В ней он пишет, развивая Платона, что цель любви – достижение с помощью этого чувства такого состояния любимого существа, при котором она (или он) никогда не умрет, обретет, благодаря любящему, бессмертие.

– Но как же?..

– Он выводит это из эволюционного развития всего живого на земле. Он считает, что эволюция задана Богом, который неприметно ведет историю Земли от примитивных форм жизни ко все более и более совершенным. Что сначала из ничего в мертвом космосе вспыхивает жизнь, потом она становится по существу бессмертной, воспроизводя се-

бя во все новых и новых поколениях живых существ, все более совершенных, потом... Потом в среде высших неразумных животных возникает – разум. И эти разумные существа, т. е. мы с вами, они-то и должны решить задачу бессмертной жизни. Потому что именно к ней стремится эволюция.

Она видит, что Николай Федорович волнуется, на лбу его выступили капельки пота.

– Но не к такой бессмертной жизни стремится развитие, – говорит он, – чтобы поколения старших умирали, передавая жизнь потомкам, а к такой, чтобы смерть, смертность совсем потеряла власть над людьми. И это возможно только через силу любви, причем, пишет философ, – любви между мужчиной и женщиной.

– Чтобы никогда не умирать? – говорит она.

– Чтобы никогда не умирать, – говорит он. – И вот я думаю, – продолжает Николай Федорович, – я думаю, что тогда, когда это произойдет, то будет совсем другое состояние жизни и даже тела. Это будет не просто арифметическое умножение телесной жизни без конца и без изменения состава тела, потому что это же...

– Это мука! – говорит она, – такое умножение – было бы просто мукой...

– Конечно, – он кивает головой, – о том свидетельствует история Кумской Сивиллы, изнемогшей от бесконечной жизни, а также судьба легендарного Агасфера... Но они жили во времени, а я думаю, что тот...

Тут он запнулся, словно не находя слов, но через минуту продолжил —

— ...тот, кто любит так, что время останавливается и вытесняется силой его любви, кто способен эту остановку времени удержать, тот сможет изменить состав тела и души — и своих собственных, и любимого человека.

— Но неужели же так еще никто не любил? — взволнованно говорит Ефросинья. — Неужели из стольких миллионов поколений — никто?

— Я не знаю, — говорит Николай Федорович. Он прищуривает глаза и трет двумя пальцами переносицу, словно бы снял очки, хотя очков он не носит, — не знаю. Может быть, и никто. Но кто-то же должен быть первым, если эволюция к тому подошла, а Высшее существо того желает. Тут важно верить. Вы вот, например, в это верите? — он вопросительно глядит на нее.

Ефросинья отчего-то смущается под его взглядом и отводит глаза. На щеках у нее горячий румянец. Она встает из-за стола и идет к окну. При свете электричества снежных гор в нем не видно, а видно комнату, но где-то там все равно они есть.

— Кто я такая, — говорит Ефросинья, стоя к нему спиной, — чтобы верить в это или не верить?

— Вы любовь моя, — говорит тихо и отчетливо Николай Федорович.

Теперь она видит горы, и их снежные вершины, и самолет,

стоящий у прожектора, и часового рядом с ним. Видит, хотя в комнате никто не гасил света. Горячая волна дошла от живота до глаз, колыхнув веки с ресницами, и она чувствует, как быстро и сильно толкается в груди сердце. И еще она видит его, стоящего сзади и глядящего ей в затылок широко раскрытыми серыми глазами.

Самолеты и жуки летают внутри ребенка-неба, а тот смотрит на них сонно и улыбается. И если он проснется и пойдет, то все они попададут, вот почему сидит над расчетами инженер – ведь какая может быть надежда на несмышленное чадо, сидит и рассчитывает линии элеронов и мощь бензинового мотора, как же иначе; и потому другой инженер тоже склонился над чертежами пулемета, умеющего при помощи остроумного приспособления стрелять через пропеллер, в точности попадая в момент, в который пуля проскочит в цель, не задев раскрученной лопасти.

Но если ребенок продолжает спать, то истинный летчик в это время способен выделять на своей машине настоящие чудеса, черт знает какие штуки – летать, например, без бензина, или забраться в «кроличью нору», иную реальность, или же сам может стать ребенком, в котором летают другие самолеты, а среди них один (он сам) тоже спит, и в нем еще кружатся самолеты, и так далее. Ведь мир так и устроен – в оба конца нет ему предела, достаточно заглянуть в параллельные, что ли, зеркала или в глаза любимого человека, и такая даль на тебя оттуда пахнет, такая длиннота повет, что тут-то невольно и задумаешься про ночные полеты над вогнутым морем, над линзой пространства-времени и над смыслом окружающих тебя людей, часов и предметов.

И в книге Иова, в которой сказано, что Творец, помимо множества сил, качеств и великих чудес, обладает еще одним неожиданным свойством, а именно – «дает песню в ночи» – это тоже про самолет, про ночное его движение в воздухе, когда весь ты объят темнотой и темным своим небесным телом и летишь, опираясь лишь на незыблемые огоньки звезд, до которых редкий кот дотянется когтем и не всякий долетит ястреб, но ты уже вложил в них свою забубенную чуткую голову, как в пасть дракону, отдался ночным течениям воздуха, которые Бог Яхве или мужицкий Иисус пустили впере­мешку, и не как заблагорассудится, а словно бы воздушными дисками и водорослями, – и ты летишь и молчишь, и молчит самолет, и даже мотор молчит – и только тело твое поет про человека и его озера, его лаковое дерево смерти и ушко стальной иголки – вещи здешние, но пришедшие не отсюда, а оттуда, где вместо имени – пенье.

И ты поешь всем телом, и пока песнь твоя длится, сохранно небо с его полюсами и зодиаками, и не проснется в страхе младенец, и пролетит в пещеру летучая мышь, и ударит сердце, и раскроется цветок, и не заденет тебя стрела в ночи и не ужалит аспид в бензиновый страшный полдень.

Мне скажут, зачем столько отступлений, а я скажу, что так писали Пушкин и Гоголь – один сошел с ума и лежит в гробу без головы, а второй умер от жены и белого человека, но оба спели свои песни, которые дал им Творец, слегка качнув

небо и целуя незаметно своих детей – безмятежных и ранимых певцов, чтоб было в суете и лихорадочном беге мира им время для ночных песен.

Мне скажут, никто такое читать не будет, а я скажу – и не надо, а надо быть среди сочинской шантрапы пятидесятых и увидеть однажды ночью из окна барака первый снег, как он покачивается, что ли, всей поляной в тишине и в светлом сумраке, будто бы большая белая черепаха, слишком широкий и нездешний, чтобы застыть без движения, пока сверху летят тихие белые звездочки и покрывают крыши из толя и листья пальм. И мы играли в «ножички» и в «расшибалочку», оглядывались с железнодорожной насыпи на женские пляжи, курили папиросы «Казбек» и прыгали в шторм с бетонной стенки вниз головой, ловя момент, когда взбухали, столкнувшись, две волны, набегающая и возвратная, перекрывая в брызгах и пене коричневые валуны в водорослях.

У многих не было отцов, а у брата с сестрой Лушиных не было и матери – воспитывала их тетка. Иногда к бараку подъезжал «ЗИМ» и поджидал, когда из него выйдет здешняя учительница в платье с пряжкой и на высоких каблуках. На праздники возле сараев накрывали столы и играл баян. Перед дракой с руки снимали часы, у кого они были, и прятали в карман – берегли, чтоб не разбить. Любовь к полетам была свойственна тому поколению, вот ведь что странно. Спасаясь от сумасшедшей «Кометы» с пьяным капитаном, прыгали в воду – оставшиеся в шлюпке погибли, взле-

тевшие и нырнувшие в глубину – уцелели. В 13–14 лет большинство разошлось по колониям. Впрочем, сегодня из них никого уже нет в живых, да и как могло быть иначе – но от этого все же печально и странно на сердце, печально и странно... но мы-то с вами остались.

– Мне пора домой, – говорит Ефросинья, – как же мы будем отсюда выбираться?

– На автомобиле, – говорит Николай Федорович, и мы, спустившись по деревянной лестнице (он держит меня под локоть), выходим во двор, где, действительно, стоит автомобиль. Перед нами идет солдат, который подавал нам чай, и светит фонарем. Его зовут Никита, и он не просто солдат, он механик, который обслуживает аэроплан Николая Федоровича. На улице похолодало, Никита поднимает брезентовый верх. Загораются фары, и я вижу словно бы срезанные светом яркие брюки и край белого пиджака. Потом Николай Федорович открывает дверцу, усаживает меня на переднее сиденье и захлопывает дверь. Я смотрю в лобовое стекло и вижу два ярких растянутых эллипса перед нами – это свет фар на траве. Николай Федорович садится за руль, запускает мотор, и мы едем.

– Я ведь даже не знаю, где вы живете, – говорит Николай Федорович, – он внимательно смотрит на дорогу, над которой косо метнулась летучая мышь.

– Рядом с виллой «Светлана», – говорю я. – После новой гостиницы. Надо проехать немного дальше, вверх по дороге.

– Надо же, – говорит он. – Мы с вами соседи, я как раз в этой гостинице остановился.

– А как же ваша мама?.. Не обиделась?

– Немного обиделась, – говорит он, – но она мне все прощает. Зато из моего номера на втором этаже виден маяк.

Он отвозит меня домой. Перед тем как проститься, он спрашивает: во сколько за вами заехать завтра? И я отвечаю – в девять. Лучи фар в развороте выхватывают на мгновение из темноты куст шиповника рядом с моим окном, он сияет так сильно, что у меня болят глаза, а воздухе стоит запах роз и бензина.

Николай Федорович сидит в кресле, не зажигая света, и смотрит в окошко. Отсюда, действительно, виден маяк, и когда его луч входит в комнату между распахнутых штор, все тени в ней оживают, она сдвигается с места и идет гулять вместе со стенами и кроватью, блеснувшей на миг чайной ложечкой в стакане, зеркалом, креслом и Николаем Федоровичем. И будто не одна тут комната – две, вложенные друг в друга, словно два короба, которые кто-то нашел у дороги и задвинул стгоряча на пробу один в другой, посмотреть, что из этого выйдет.

Первый прочно стоит – со стенами и с порогом, с зеркалом, косяками, тумбочкой и кроватью. С картинкой на стенке и с летчиком в кресле, обычное дело. Но гуляет второй от далекого маяка – шаткий, вздрагивающий, улетающий каждый миг бог знает куда. Как растянул кто гармошку из света и тени, и ну наигрывать свои бесшумные воровские песни, разрывая тихо мехи направо-налево, туда и сюда, и вбок и наверх. Авось сыграет он этой шаткой гармонью такую песню, такую папиросную выстрадает да выпоет он мечту и коробку, слово такое скажет, что вылетит из его бесшабашного сердца вся его мощь и сила, высадив в сердце окно вместе с рамой, пальцы изрезав, шурупы сорвав, и все что тут есть увлечет мелодией в путь-дорогу без края и имени – туда,

где нам быть поистине должно, но лишь кровь передвинув, смерть переплюнув и судьбу обманув. И играет гармошка, и крик стоит на земле, но никто того крика не слышит. Если даже в самой глубокой и страшной тиши и прислушаетесь, все свои мысли прервав, и тогда не услышите, а он все течет, как родник, все вокруг живит и растит, все рыдает и все свои разбойные песни поет. А замолкнет он – сгинем мы с вами в безнадежном повторе нашей налаженной, нашей единственной и надежной, нашей мертвенной жизни.

И все ж улетел бы короб, куда Макар телят не гонял, рванувшись от света и тени, но стоит на страже могучая сила, непреклонная и несговорчивая, угрюмая и надежная – одернет враз она комнату, поставит в ней вещи как надо, картинку – на стенку, стол на пол и летчика в кресло; прищикнет и пальцем покажет на землю – здесь твое место!

А только что она, эта победная сила, без воровской да безумной песни, а скажу я вам правду – ничто!

А посидеть тут подольше, так можно и вовсе съехать с ума от всей этой пляски, спятить не в шутку от песни бесшумной, от гармоник тихой. Ведь в комнате пахнет еще ж и камелией, разливаются снизу лягушки, и все чудится, не перестает, запах женских духов, и белый пиджак висит на спинке кровати, как привидение.

Всю ночь вздрагивал светом Николай Федорович, глаз не смыкал, не вставал с кресла, расходясь с собою и снова сходясь, размыкаясь и вновь смыкаясь, расставаясь с телом и

снова с ним же встречаясь, вспыхивая в зеркале и погасая.

Заходился хор лягушачий, речка звенела, ходили туда-сюда ночные скрипы – заснул он только под утро, откинувшись на подушки, не раздеваясь.

Но и дом весь качается, ходит туда-сюда, как во сне, – вот уже он не гостиница, а жилой дом, в котором осели переселенцы с Кубани и Дона, приехавшие сюда в 1929-м, убегая от голода, в основном, казаки, тут и семья отца, и сам он, четырехлетний, и два его брата.

А вот он годы спустя – кудрявый, рисковый, сидит возле дома на лавочке над шахматною доской, бутылка портвейна «777» рядом, и шевелящаяся тень от листьев играет на его клетчатой рубашке. Напротив, на той же лавке верхом – игрок помоложе. В драных джинсах и синей футболке, пьет вино из стакана, скосясь на фигуры, обдумывая следующий ход, а рядом свалена куча угля для подвальной котельной, и шепчется в ветерке бамбуковая роща с металлической койкой, стоящей среди полых стволов. В сарайчике напротив сосед играет на аккордеоне «Синий платочек», бабочка, рыскающая, летит через двор незнамо куда.

А вот уже во дворе – кафе «Ромашка» с бьющим кругло-суточно невысоким фонтаном, в котором дно бассейна выложено разноцветной смальтой, и вода морщится вокруг падающей струи. И когда пьешь пиво, стоя за утренним столиком, облокотившись на него, то кажется, что после бессонной ночи день вот-вот распахнется, как этот белоснежный мост, выбегающий почти из-под ног на ту сторону ущелья, и

подхватит тебя и одарит полетом и безалаберной радостью.

Пьешь пиво и, морщась, вспоминаешь обнаженные тела двух подруг, светящиеся, как статуи, в домике на берегу моря, и как мерцал рыжий и голубой витраж в дверях, от фонарного света с улицы, – и вот уж размылось утро с фонтаном и белым мостом над ущельем, и вот – ни дома, ни бамбуковой рощи, ни беглых казаков и ни фонтана со смальтой на дне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.